

Глеб Иванович Успенский

Поездки к переселенцам



Глеб Иванович Успенский

Поездки к переселенцам

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665665

Аннотация

«Цикл очерков «Поездки к переселенцам» посвящен вопросам переселенческого движения русских крестьян, охватившего с начала 1880-х годов особенно значительные массы населения средних областей России. Эта тема давно занимала Успенского, но только летом 1888 года ему удалось совершить поездку в Сибирь, куда главным образом переселялись крестьяне. Писатель с большой ответственностью отнесся к выполнению своей задачи и рассматривал поездку в Сибирь как важное общественное поручение, которое он обязан был выполнить в качестве летописца страданий русского крестьянства...»

Содержание

1. От Казани до Томска и обратно. 1888 г	5
I. Раздумье	5
II. По Каме до Перми	10
III. Первая встреча	16
IV. От Перми до Тюмени	26
V. Переселенческое дело в Тюмени	34
VI. В переселенческих бараках	42
VII. Река-пустыня. – Переселенцы в Томске	56
VIII. Поездка к новоселам	68
IX. Поселок	80
X. Хорошего понемножку	100
XI. Обратные	106
XII. Канцелярские тайны	119
XIII. Омские порядки	124
XIV. Обратный путь. – Ямщики и тройки. – Кнут и свист	144
XV. Колыванские, каинские, тюкалинские и других мест бродяги и темные люди	157
XVI. Ссылные поселенцы	170
XVII. Опять «прискорбное недоразумение» и... конец путешествию!	180
2. От Оренбурга до Уфы. 1890 г	186
I. «Башкир пропадает»	186

II. Простор и безлюдье	193
III. Непрочность переселенческих покупок и аренд	202
IV. Хутор недоимщиков крестьянского банка	210
V. Подставные депутаты	217
VI. Бородатые младенцы	222
VII. Переселенцы с «рубличком»	233
VIII. Вятичи	240
IX. Сибирская дорога и переселенцы	248
3. Не знаешь, где найдешь	255
I	255
II	259
III	265
IV	268
Примечания	270

Глеб Иванович Успенский

Поездки к переселенцам

1. От Казани до Томска и обратно. 1888 г

I. Раздумье

Решив весной 1888 года ехать в Западную Сибирь, с исключительной целью видеть положение переселенцев, я, однакоже, крепко призадумался о плодотворности этой поездки, когда наконец, как говорится, «дошло до дела», то есть когда я уже ехал по Волге, приближаясь к Казани. Предстояли мне впечатления, без сомнения не облегчающие сознания, уже крепко утомленного сутолокою только что миновавшего петербургского зимнего «сезона», и вследствие этого, вопреки существенным целям поездки, утомленное сознание стало вопиять о крайней необходимости отдохновения. И чем ближе подходил пароход к Казани, тем с большею настойчивостию вопияло оно о предпочтении тепла и блеска южной природы суровым картинам севера, которые обрисовывались в моем воображении. Всякий раз, когда я смотрел

на отваливающий от пристани пароход, и знал при этом, что он идет на юг, в Саратов, Царицын, Астрахань, мне ясно виделось, что пароход этот весь веселый, от веселого флага до спрятавшегося в воде колеса. Все в нем играет, он не идет, а летит, как ласточка, и свистки его поют, как соловьи. А когда от той же пристани отходил пароход в Каму, в Пермь, и я знал это, мне тотчас же представлялось, что пароход не только не бежит и не летит, а упирается, что навстречу ему бьет холодный ветер с Ледовитого океана, что свистки его воют, а не поют, как соловьи.

Не говоря уже о том, что страна, в которую я ехал, носит наименование «Сибири», совершенно выделяющее ее из ряда обыкновенных, общежительных на белом свете стран, вспоминались мне и другие, крупные и мелкие черты внешних и внутренних ее оригинальностей, и все они (или по крайней мере то, что заставляла вспоминать заранее предубежденная мысль) не влекли к этой суровой и таинственной, как мне казалось, стороне. То ли дело поехать бы на юг, на Кавказ, в донские степи, в горы! Все там как бы рвется к солнцу, к небу и само хочет блистать, как солнце. Всадник взбирается на коне выше облака, а облако само идет на землю. К небу и выше неба несутся горы! По горам тянутся к солнцу леса, тянет из них солнце всякий цвет и плод, фрукт, всякое растение, то есть всякое богатство юга, вплоть до веселого вина, в котором также спрятался солнечный луч. Роскошествует природа, но и всякая тварь также

желает франтить, не говоря о человеке, франтовство которого выше всякого описания. Франтят здесь птицы по лесам, и рыбы в реках и в морях, да и речонка не пробежит прилично, а гремит, бурлит, шумит и вообще ведет себя необузданно. Нет здесь уголка, который не был бы уж олицетворен и увековечен стихом русского и нерусского поэта.

Бывал я в этих веселых местах, и не так весело смотрел на них в прежнее время; но теперь, когда мне приходилось ехать в гости к Ледовитому океану, юг рисовался мне в очаровательных образах. Но ведь и там, куда я еду, тоже есть горы, и реки, и леса, но какие они? В каком-то беллетристическом произведении я читал описание этих гор и нашел, что они не гордыбачат перед солнцем и небом: «Точно стадо гигантских животных, покрытых частой и жесткой щетиной (так было изображено автором произведения), молча и недвижно лежат на огромном пространстве, как бы в дремоте». Щетина! Что же тут приятного? Да притом, казалось мне, не к небу, не к солнцу рвется там природа и человек, и не на солнце родится и живет там всякое богатство, как оно родится и живет на юге, где даже керосин, и тот норовит сам выскочить из-под земли и ударить вверх, к небу, а живут они и рождаются в самых глубоких, темных недрах земли, в соседстве с трупами мамонтов, ихтиозавров и других допотопных представителей «допотопного Купона». Человек не только не перескакивает здесь через облака и не ездит выше черной тучи, но лезет под землю, в темную глубину самой

непроходимой и непроницаемой тьмы, копошится в ледяной грязи, в ледяной воде, добывает богатства под ударами нагайки, под угрозой пули, под приманкой сивухи.

Страшна казалась мне эта темная, глухая, бесконечная тайга, но еще страшней было знать, что в этой-то бесконечной тайге, может, *бежит* человек. Страшно то, что человеку надобно *бежать*, обрывая в чаще леса свое платье, рубаху, тело, бежать без оглядки, «не пимши, не емши». Это бегство в необозримом пространстве лесной глуши и пустыне, на десятки верст в окружности не имеющей признаков живой человеческой оседлости, тем еще более ужасно, что беглец бежит от какого-то другого человека, у которого на плече заряженное ружье. Ужасна фигура бегльца, но ужасна и фигура того человека, который найдет этого бегльца в тайге, «учует» его след, как собака, за целые версты, настигнет, вобьет пулю в спину и отымет украденное золото. Золото! Вот оно в руках этого оборванного, опоенного, развращенного бегльца, сто раз на своем веку случайно избежавшего смерти от голода, от пьянства, от каторжного труда. Он напал на самородные россыпи и прямо вытаскивает из земли куски, в которых заключается состояние целых деревень. Что же он делает? Меняет это золото в конторе на всякие лакомства, варит в котле чай из шести фунтов чая, валит туда же в котел голову сахару, льет вино, жрет все это, распутничает, покупает по четыре новых азяма в день, которые тут же топчет в грязи, в пьяном виде дерется, убивает и опять бежит по тайге, бежит,

как дикий, голодный, больной зверь, и в криках, в столах, оглашающих безжизненную лесную глушь, умирает, лежит мертвым, гниет, и в конце концов в мертвой тишине ночи мертвой тайги слышно хрустение человеческих костей, – лакомится какая-то хищная тварь мясом человеческим.

Не подлежит никакому сомнению, что эти исключительно мрачные картины вспоминались мне из прочитанного о Сибири только под влиянием соблазна, при виде убегающих от казанской пристани пароходов, наполненных счастливыми, стремящимися на юг. Все, что напоминало только мрачные, свойственные исключительно Сибири особенности, все стало припоминаться одно за другим, и, наконец, *Сибирь* обрисовалась как страна, в которой живет исключительно *виноватая Россия*, а раз овладела эта тяжкая мысль и, не сдерживаясь, начала определять разновидности всех русских *виноватых людей*, стало вспоминаться все пережитое, передуманное, перечувствованное. Все лица человеческие, которые возникали в памяти, все они, казалось, были заключены в какой-то заколдованный круг безысходного осуждения. За что? Почему? угнетало и мучило мысль бесплодной мукой и еще сильнее возбуждало желание миновать эту трудную, ни в чём не облегчающую поездку. И я бы долго не додумался до какого-нибудь решения, если бы меня не выручил «добрый человек».

II. По Каме до Перми

Выручил меня, по обыкновению, «добрый человек», наш русский крестьянин. Пошел я по пристани и вижу в отворенные ворота сарая, что там, в глубине его, масса простого народа, – мужики, бабы, дети, старики и старухи. Оказалось, что это переселенцы из Курской губернии. Одни едут в Омск, другие в Томск, а из этих пунктов – на участки уже отведенные.

Незначительного разговора с этими людьми было вполне достаточно, чтобы образумиться, прийти в себя, вспомнить цель давно решенной поездки и понять ее как дело, которого нельзя покинуть для «отдохновения».

Как только я образумился и на душе стало покойнее, все окружающее начало спокойно восприниматься в том виде и в той сущности, в каких оно доступно глазу, не омраченному темными мыслями. Прежде всего Кама совершенно утратила все свои мрачные черты, преждевременно изобретенные моим расстроенным воображением. В начале, при впадении в Волгу, она, правда, ничем еще не обнаруживает своих характерных особенностей: низменные, едва не в уровень с поверхностью воды, песчаные берега, зеленеющие чахлым кустарником, – и вообще ничего еще нет достойного внимания. Непривлекательны также расположенные ближе к устью Камы деревни и городки; почерневшая солома, завалившиеся

плетни в деревнях и какие-то серые кучи разбросанных построек в городках, ничем все это не лучше обыкновенного русского захолустья и поэтому не останавливает внимания. Но чем дальше, тем все больше и больше вырисовываются типические черты как самой реки, так и ее береговой жизни.

Широким и глубоким, сильным и спокойным потоком течет эта река в крепких, прочно ограждающих неизменность течения реки берегах. Здесь даже левый берег несравненно выше и несравненно крепче держится на своем месте, чем левый берег Волги; благодаря его чрезмерной низменности бедная Волга-матушка измучилась в поисках своей прямой дороги. Низменный, песчаный, заливаемый весной обильными водами Волги берег этот награждает ее грудями песка, мусора и корья, нанося поперек ее течения целые горы препятствий. Какая-нибудь затонувшая баржа, расшива – весьма достаточная причина для того, чтобы спадающие с песчаной низменности воды натащили на это препятствие груды песка и заставили бы широкое течение реки разбиться на два нешироких и мелких рукава. А на юге, от Царицына до Астрахани, бедная река отбивается от этих несметных песчаных туч, несущихся на нее и справа и слева десятками своих течений, отмахивается от них всеми, так сказать, пальцами обеих рук и окончательно изнемогает, добравшись, наконец, до глубокого моря.

Не так поступают с Камой ее верные стражи, крепкие, твердо знающие «свое дело» берега. И справа и слева бе-

рега эти высоки (с правой стороны даже иногда очень высоки), и не песчаны и бледны, как на милой, измученной Волге, а красноваты, иногда даже тёмнокрасны, что говорит о массах железных руд, дающих этим берегам особенности цвета и твердости. Твердые, крепкие берега гладко и правильно отшлифованы неизменным в долгие годы течением Камы, иногда поражают своей тонкой отделкой, то есть удивительной правильностью линий, проложенных по красной почве резцом твердой, не менявшей своего направления струи. Красноватые берега холмисты, мягко волнообразны, а растительность, покрывающая их, так же радует взгляд некоторыми особенностями. Какая-то отчетливость, тщательность в обрисовке как самого растения, так и его цвета невольно почему-то напоминают произведения «добросовестнейших», трудолюбивейших художников, тщательно старающихся изобразить на картине все, что надо, непременно в самом точном виде, в самом подлинном цвете. Иногда ведь и белое стекло может казаться золотым от лучей заходящего солнца, а синий пруд делается от тех же лучей красным. Но добросовестнейший и честнейший рисовальщик, любящий только «правду», напишет солнце, какое оно есть по сущей правде, и воду, какова она в действительности, и дерево в том цвете, какой ему свойственен. Благодаря хорошей погоде берега Камы производили впечатление именно этой тщательной резкости в цветах и очертаниях покрывающей берега растительности; красный обрез берега, непра-

вильной линией своей вершины соприкасающийся с холмистой и волнообразной поверхностью удаляющегося от берега пространства, самым резким образом отделяется от этого пространства своим цветом. Берег густо красен, а кайма его вершины бледнозеленая, и этим бледнозеленым цветом окрашена на далекое пространство волнообразная даль берега.

Только что глаз запечатлел эти два, как ножом отрезанные друг от друга, цвета – красный и бледнозеленый, как на этом бледнозеленом фоне с величайшею тщательностью очертаний вырисовывается черная ель, – то маленькая и тонкая, то высокая и стройная, как минарет, то темная-претемная, как кипарис. Сплошных еловых лесов я что-то не заметил на Каме; сколько я мог видеть (тогда, когда, конечно, смотрел, а этого ведь нельзя было делать во весь переезд непрерывно), ели – это какие-то странники, прохожие, большими толпами, но один за одним, пробирающиеся куда-то, и всегда разных лет и возраста; маленькая плетется по бледнозеленому полю, а за ней большая, а за большой опять подросток, а за подростком старый-престарый старик. То они плетутся, идут по чисту полю, то, как переселенцы, группами селятся в чужих сосновых лесах. И тоже никогда они не растут одна под одну, а все по своему «карактору»: одна маленькая, другая большая, третья поменьше. И как они хороши, когда одинокими прохожими или небольшими колониями протянутся по вершинам возвышенностей. На чистом бледном небе, особли-

во вечером и особливо при полной луне, ясно очерчиваются тогда силуэты многолюдных городов с высокими церквями, колокольнями, башнями, минаретами, зубчатыми стенами. Иногда вполне веришь и видишь, что пароход идет прямо к какому-то большому городу, а потом и оказывается, что это все сделали прихотливые ели.

Вместе с особенностями природы понемногу стали видимы и особенности прикамского побережного житья-бытья. За Чистополем, этим городком, дающим весьма немногосложное впечатление обыкновенного российского захолустья, пошли совершенно необыкновенные на Руси многолюдные и зажиточные деревни. Соломенная крыша окончательно исчезла. Просторные улицы, просторные постройки, все это совершенно необычно для жителя русских внутренних губерний, знающего, что такое деревня. И таких просторно устроившихся деревень и широко раскинувшихся сел, нередко с двумя и тремя церквями, встречается здесь, в течение часа пароходного пути, не один раз. То, что пароход не останавливается около этих сел и деревень, доказывает, что пароходу еще нечего с ними делать, что села и деревни не принимали еще и не отпускали от себя никакого продажного продукта, и что, следовательно, они действительно села и деревни по преимуществу земледельческие.

Встречаются по Каме, правда, и такие села и деревни, которые имеют связи с разными, главным образом железными, заводами, и тогда около них есть пристань, а с пристани

садится на пароход тот самый «пинжак» с рваными локтями и рваным козырьком, который доказывает, что Купон уже «проник» и произвел все то, что ему произвести подобает.

Приятно было смотреть и на эти просторные деревни, и на эти своеобразные берега, и на самую многоводную Каму; но все смотреть да смотреть и не сказать ни с кем живого слова, наконец, станет и скучненько. И, конечно, наилучшие собеседники – переселенцы.

III. Первая встреча

Переселенцы помещались на палубе в третьем классе; на любимовских пароходах¹ палуба закрыта и сверху и с боков, так что проезжающие защищены от дождя и ветра. Но жара от машины и от кухонь сильно портит воздух в помещении третьего класса.

На этот раз на пароходе ехало две партии переселенцев, обе из Курской губернии, но из разных уездов, причем одна партия, в четыре семьи, были малороссы из южных уездов Курской губернии, а другая, из шести семей, великороссы из северных уездов губернии. Малороссы ехали в Красноярский округ, где уже имели своих земляков-поселенцев, и шли на готовую землю. Великорусские переселенцы ехали в Томский округ, где тоже им уже были отведены участки, и даже номера участков обозначены (14 и 25) в проходном свидетельстве. Малороссы-переселенцы были одеты опрятнее наших, ели аккуратнее и в определенное время, целыми семьями, в кружок, и вообще во всех их поступках было гораздо больше обдуманности и сообразительности, чем у черноземных великороссов, которых отличала какая-то бабья доброта, бабья распоясанность во всех отношениях и, к сожалению, весьма значительная нищета в одежде. Мало-

¹ За проезд от Нижнего до Перми с переселенцев брали по 2 р. Кушанье переселенцы могли готовить на кухне матросов бесплатно.

россы были все в сапогах, великороссы все в лаптях, в онучах, в самых дерюжных рубахах, штанах, сарафанах. Малороссы спали, всегда что-нибудь подстилая; наши валились прямо на пол, заплеванный подсолнухами, и только под ребят подстилали какие-то не совсем чистые дерюжные лоскутья. Бедность и несытость не подлежали никакому сомнению в курских переселенцах-великороссах, тогда как у малороссов, очевидно, была хоть и небольшая, но все-таки «копейка» где-то припрятана.

Но в этих, кой в чем непохожих друг на друга, партиях была одна вполне однородная для всех их черта: не столько бедность, нищета, трудность жизни в материальном отношении побуждала их к переселению, сколько явная *боязнь разрушить нравственные семейные связи*.

Все ехали семьями, в которых были старики, старухи, уже неспособные к работе, которые поэтому даже прямо будут бременем во время трудной поры устройства на новом месте.

Из разговоров, особенно с великорусскими переселенцами, ясно было видно, что боязнь разбрестись из «своего дома», уйти от отца, от матери, жить в чужих людях и страх при жизни исчезнуть друг для друга, что он-то и гнал эти семьи в далекие края, заставляя и старого и малого крепко прижиматься друг к дружке, жить «увместях», и если пропадать, так пропадать также «увместях».

Один из таких великороссов-переселенцев, распоясанный мужик, с распахнутой душой, все выкладывающий перед

всяким встречным с первого слова, поразил меня именно обилием нежнейших чувств к своей семье. Конечно, и он говорил о нищете, о податях, о неурожаях, о крайней степени малоземелья и крайней высоте арендной платы, но разговор об этих материальных невзгодах, страшивших его главным образом с точки зрения неуплаты податей и недоимок и вообще провинности против начальства, очень часто прерывался самыми нежными словами именно об этих близких людях.

– Вон она, маменька-то старушка, сидит! Поехала ведь! Радостно сияют при этом его «простенькие» глаза.

– Не останусь, до смерти не разлучусь с тобой, Михайло! Двух дочерей и со внучатами уже замужними оставила, простилась с ними навеки, а от меня не отстает! Вот она какова, маменька-то!

И эта радость чувствовать около себя такую горячую, вечную любовь, кажется, была единственной силой, которая давала ему возможность обольщать себя надеждой, что он на новом месте справится и все уладит по-хорошему. Он *один* ехал на *новое* место со старухой матерью, женой и пятью человеками детей, мал мала меньше, и всякий раз, когда разговор касался практических вопросов и когда они очерчивались в весьма непривлекательных предчувствиях, он, видимо, старался ободриться, прихрабриться и для этого опять радостно говорил о маменьке, о жене, о ребятишках. То, что они неразлучны, любят друг друга, не покинут один друго-

го, – в этом был источник его мечтаний об успехе.

Все эти семьи бедны и помяты работой, это видно с первого взгляда; но что все они семьи, любящие друг друга, как наши черноземные, или крепко сплоченные нравственными и материальными связями, как малороссы, в этом нет никакого сомнения. Один из малороссов-переселенцев ехал с женой, с тремя сыновьями, из которых двое были женаты, и с тремя внучатами. Сыновья его могли постоянно поддерживать его хозяйство и свои семьи отхожими промыслами. Каждый год за два летних месяца они трое приносили с Дону 150 руб., то есть все, что нужно на покрытие неминуемых платежей. Но стоило поговорить с отцом этой семьи побольше, чтобы несомненно убедиться, что его влечет на новые места не столько расчет, сколько забота о молодом поколении, которое начинает расти и множиться и тем осложняет семейные отношения. Старик живет заботою о своих ближних, об отношениях мужей к женам, отцов к детям, блюдет их, не дает их в обиду, и участь всех их, до внука включительно, для него значит не меньше денежного заработка. Практичность, заметная в нем и не имеющая никакого сравнения с нежнейшею непрактичностью того великорусского мужика, о котором я сказал выше, она для него только средство не разрушить и не убавить многосложность семейных связей и обязанностей.

А что этот человек не разиня, не распахнутая душа – это верно. Распахнутая душа черноземного переселенца сразу

отозвалась на мое желание видеть его «бумагу».

– Да с полным удовольствием! – И мужик с распахнутой душой тотчас вытащил ее из-за ворота. Там, на груди, в кожаном самодельном бумажнике, застегнутом на крупную солдатскую пуговицу и прицепленном на ту же тесемку, на которой висел медный крестик, – там была у него спрятана «бумага» и десятирублевая бумажка.

– Вот и деньги-то все тут! – разлюбезнейшим тоном проговорил он и вытащил запотевшую на груди бумажку. – Право, ей-богу!

– Как же ты доберешься до Томска-то?

– А эво-то что! – указывая рукою на берег, с развеселым лицом проговорил он.

– Что там такое?

– А хлеб-от! Видишь какой? сырой, зеленый, чуть белеть еще начинает... Ну, и в тех-то местах, в Томском-то округе, должно быть, он в той же поре. Авось, господь даст, подоспеем к жниву-то... Я да жена, всё двое! Поработаем!

Распахнутая настежь душа раскрыла все свои тайны в одну минуту; открыла и бумаги, и деньги, и планы на будущее, и все свои нежные сердечные чувства и привязанности.

Душа, сосредоточенная в себе, не распахнутая настежь, но живущая не менее многосложно, чем и распахнутая, вела себя со мною много осторожнее. Когда я спросил о тех местах, куда они идут и как об этом сказано в бумаге, чтоб посмотреть на карте (которая со мной была), то кто-то из сыновей

старика малороссиянина, с которым я говорил, сказал мне:

– Вона в батька!

Тогда «батько» обернулся к сыну, сурово посмотрел на него из-под нависшего на лоб чуба и строго сказал:

– Нема ни якої бумаги в батька!

– Деж вона?

Батько помолчал и потом кратко ответил:

– Искурив на цыгарки.

– Ну, – сказал я на это, – уж это неправда. На цыгарки ты ее не искурил, потому что тебе без нее нельзя идти. А просто ты не хочешь мне дать ее почитать.

– Та искурив же ж...

– Не искурил ты, а не хочешь!

Батько пожал плечом и, свесив голову с чубом, а руки опустив между расставленных колен, опять замолчал. Молчал и я.

– Та дай ему тую бумагу! – наконец сказал он недовольным тоном, не разгибаясь, а только обернув голову к своему сыну. – Не хай мене бог... коли в мене ни якої бумаги не було!

И сын тоже не сразу исполнил родительское приказание! Он сначала поглядел на меня, потом на отца, и потом уже не спеша вытащил из кармана жилета кошелек, а из кошелька какой-то крошечный сверток. Развернув этот сверток, он достал из него еще какую-то бумажку, исписанную и местами разорванную.

Это было простое письмо из Красноярска, от земляков, теперешних переселенцев-малороссиян, поселившихся там раньше. Замечательны эти письма «от земляков». Очевидно, пишут их не земляки, а строчит кто-то из *тамошних*, отлично набивших руку в писании таких писем. Все они (мне много приходилось их видеть впоследствии) написаны почти по одному и тому же образцу, и во всех них постоянно находятся одни и те же выражения и посулы насчет будущих благ. «Паши сколько хошь, коси сколько хошь, дров сколь угодно, руби без запрету, скота много, цены дешевые... Выбирайте двух человек, пушай придут осмотреть. Лучшей жизни не найтить!» Всё в одном и том же роде.

– Это не та бумага! – сказал я.

– Та нехай мене...

Я прервал упорного старика и завел речь о том, как ему жилось на родине и отчего он ушел. И вот тут он заговорил совершенно другим тоном; в нем сказалась такая пропасть юмора, что публика, слушавшая его рассказы, умирала со смеху.

Рассказывая, например, о потраве, за которую владелец брал огромные штрафы, он тут же и представил «в лицах», как эту потраву производит разыгравшийся жеребенок, который прибежал в поле за своей маткой. Оставить жеребенка дома нельзя, да и мать соскучится, а возьмешь его в поле, он обрадуется и начнет играть.

– Стоишь, – говорил он, – глядишь на жеребенка, а у са-

мого только дух захватывает... Прыгнул раз, – на пять карбованцев! Прыгнул два, – на пятнадцать! завертел хвостом, повалился, болтнул всеми четырьмя копытами, – хватать и все сто рублей на шее! Побежать за ним догонять, натопчешь на столько, что и всю жизнь не расплатиться!

Невозможно передать в моем пересказе ни по-русски, ни по-малороссийски виденного и слышанного: что это была за необычайно комическая картина! И таких сцен остроумный старик рассказал, а главное представил в лицах, множество. Пан, накладывающий штрафы за бродяжничество курицы (1 к.), определяющий до последней полушки размеры всяких убытков от заблудившейся свиньи, от цыпленка, разыскивающего свою мать-наседку, фигура этого пана была изображена поистине высокохудожественно. Мы уже давно отвыкли думать о том, что делается в этих темных углах, где живут какие-то темные паны, владельцы разных «отрезков». Остроумный старик всем нам напомнил, что эти маленькие тираны, с неизвестными фамилиями, нигде, ни в какой общественной деятельности ничем не обнаруживающие даже своего имени, и в то же время величайшие изобретатели всякого рода прижимок, – существуют на Руси в огромном количестве.

Когда какой-то из переселенцев-великороссов спросил старика-юмориста, за много ли денег продал он свою усадьбу, старик опять и сразу совершенно преобразился. Юмор пропал, и осталось опять то же выражение лица и та же манера разговора, как и в начале моей с ним беседы.

– Та ничего нема! – жалобным и недовольным тоном заговорил было он и принялся при помощи пальцев доказывать, что вырученные за усадьбу деньги разошлись все до одной копейки. Но ему не дали не только докончить этих расчетов, но даже и начать их объяснение.

Российские переселенцы громко и дружно подняли старика на смех:

– Ну уж, брат, врешь! Уж это врешь, брат!

– Врет! Не хочет говорить... У них, у хохлов, завсегда деньги есть! Это что!

– Та...

– Врешь! Врешь, старина!

– Та...

– Что? у него нет денег? – произнес какой-то приказчик, неожиданно появляясь среди толпы переселенцев. – У хохла-то нет? Врет, врет!

– И вестимо есть! у них завсегда есть! Не то, что у нашего брата.

– Есть у них! Есть... Хочешь я тебе покажу, сколько у тебя денег? – весьма развязно продолжал приказчик, что очень смутило старика. – А не хочешь, так прямо говори, а не утаивай. А то мы тебя свяжем, вытащим кису-то и сами пересчитаем? А?

Старик сильно омрачился, а зрители распахнули свои пасти в самом беззаботном смехе, умея и привыкнув еще «и не так» подшутить над человеком.

Этой шуткой, заставившей уйти из толпы шутников, закончилась первая встреча с переселенцами.

IV. От Перми до Тюмени

Пермь и переезд по Уральской горнозаводской дороге до Екатеринбурга прошли без особенно приметных впечатлений. Непомерная, совершенно неожиданная жара, начавшаяся еще, вопреки всем вероятностям, на Каме, где я с полной уверенностью ожидал всяких прелестей, свойственных близости Ледовитого океана, – окончательно доконала в Перми, и во всю дорогу до Тюмени, да и здесь, припекала без всякого милосердия. Все время жара стояла днем около сорока градусов, а часто и выше сорока, и размаивала до состояния постоянного полусна. Благодаря такой случайности (старожилы не запомнят таких жаров) ослабленные нервы отказывались воспринимать вообще какие бы то ни было впечатления. Раз только они, и то на самое короткое время, ощутили было некоторое тенденциозное беспокойство, но ощутили только потому, что затронуты были соображениями о весьма мрачных подозрениях.

Ехали на пароходе и потом по железной дороге какие-то, так сказать, «отдельные» от обыкновенной проезжающей публики личности. Что-то было в этих личностях «особенное», а главное таинственное, не говоря о разнообразии форменных костюмов, свидетельствовавших о принадлежности каждой из этих «отдельных личностей» к разным министерствам, – все они первое время усердно занимались чтением

каких-то толстых книг, которые одним видом своим говорили, что в них напечатаны не стихи и не романы. Иной раз дунет ветер, – глядь, и выдует из книги огромнейшую таблицу или огромнейший чертеж или карту с явственно обозначенными «пунктами» (красненькими кружками), очевидно, означающими места, где зимуют разные сибирские раки и против которых «отдельные личности», очевидно, имеют какие-то тайные намерения. Глядя на эти потрясаемые ветром «таблицы», и карты, и чертежи, я, не знаю почему-то, вспоминал так часто встречающиеся в сибирской прессе слова: «Кажется, в будущем году нам, наконец, *улыбнется* такая-то реформа», «Неужели же нам никогда не *улыбнется* надежда на такую-то реформу?» Или: «надежда, *улыбнувшаяся* нам, увы!» Вспомнилось мне все это, и я с какой-то тревожной подозрительностью подумал обо всех этих «отдельных» личностях: «Уж не «улыбки» ли это, ожидаемые так долго, наконец, в образе человеческом, едут в Сибирь? Не опрометчиво ли поступали господа сибиряки, вопия о том, чтобы им «оттуда», наконец, улыбнулись? А как возьмут, да и станут в самом деле улыбаться без послабления? Что тогда?»

Однако, несмотря на полное расслабление и оупение от жары, иногда нельзя было кое-чего не видеть и не воспринять из впечатлений окружающего. Нельзя было не видеть этих гор, просторно расступающихся по обеим сторонам дороги, – гор, не теряющих впечатления этого простора даже в самой крайней дали горизонта, где они очерчиваются толь-

ко туманными силуэтами, где они по светлому небу чертят непрерывную, неправильную линию вершин, мелко иззубренную все тою же островерхою елью.

Хорош и вполне типичен Урал на Чусовой: широкая долина, с широкими, свободными изгибами реки, обставленная не напиряющими друг на друга и не тискающимися горами, впервые дышит на вас сибирским раздольем и простором; все, что вы видите кругом себя, эти долины, переходящие в горы, без всяких резкостей, медленными подъемами, как бы говорящими: «не к спеху!»; эти реки, широкими размахами своих изгибов доказывающие, что и они поступают здесь единственно только по своей охоте, что никто им здесь не указчик, и «потому, что хочу, то и делаю», и, наконец, эти горные хребты, разместившиеся друг от друга без всякого стеснения, как самодовольные хозяева всей этой шири и простора; все это, веющее простором, свободным своевольством и могучей, но смиренной силой, – все это уже не наше, черноземное, а новое, здешнее, чисто сибирское и для нас необычное.

Есть, впрочем (особливо за Чусовой), и такие места, где сила природы выходит из пределов смиренного настроения и невольно рождает какое-то жуткое ощущение. Есть за станцией Чусовой такие места, когда горы идут близехонько с обеих сторон поезда, и тогда тайна их могущества невольно охватывает все существо как бы некоторую оторопью. В чем эта тайна жуткого ощущения? В этой ли могучей высо-

те или в дремучей растительности, плотно и тепло одевающей огромное тело горы снизу и доверху, – не знаю и не могу определить. Но знаю, что, взглянув на это могучее тело, плотно и тепло одетое густым мехом леса, невольно скажешь себе:

– Эко, силища-то какая!

И, глядя на эту силу, почему-то «пикнуть не смеешь», молчишь, притаив дыхание, и вздохнешь свободно только тогда, когда вагон уйдет в какую-нибудь искусственную выемку или на равнину, очень болотистую и непривлекательную.

За Екатеринбургом впечатления начинают принимать уже более определенный смысл, и притом довольно многосложный. Прежде всего значительно убавляются резкости горной природы; начинается наша, знакомая нам, россиянам, степь, поля, луга, а вместе с ними идут уже не заводы, не болотца с кучками мужиков-золотоискателей, а деревни, стада, крестьяне. Все это прямо наше, российское, но в то же время есть во всем этом что-то и новое, чего сразу решительно не поймешь и не сообразишь. Не говоря уже о просторе, о приволье, которыми веют на вас эти поля, луга и стада, не говоря о достатке, который виден в этих просторных постройках сел и деревень, где нет ни одной соломенной крыши, – чувствуется, что есть тут, во всем видимом, еще что-то неведомое для нас. Оно тоже почему-то веселит, поднимает в душе что-то радостное, и загорается ожидание чего-то необычного.

– Нет барского дома! – вдруг озаряет мысль молчаливо сказавшееся слово, и вся тайна настроения, и вся сущность непостижимой до сих пор «новизны» становится совершенно ясной и необычайно радостной.

Нет барского дома, но есть крестьянин, живущий на таком просторе, расплодивший там огромные стада, настроивший такие огромные, просторные деревни, есть человек, проживший на своем веку без малейшей прикосновенности к барскому дому: когда мы, обыватели Европейской России, видели такого крестьянина?

Настойчивое желание видеть «своими глазами» «такого русского мужика», не знавшего самого главного и самого важного, что пришлось знать и перетерпеть нашему великорусскому крестьянину, это желание, едва родившееся, тотчас же осложняется мыслями о многострадальной жизни именно «нашего», хорошо знакомого нам, мужика. «Как на грех», этот самый мужик теперь же, вместе с вами, в этом же поезде, мчится из России, бежит от всех уже достаточно «улыбнувшихся» ему улучшений. И как бежит! Вот в этих пяти вагонах его *везут* на поселение, за железными решетками, а в других пяти он *сам бежит* на это поселение, добровольно. Посмотрите, что за народ сидит и там и там. Это все один и тот же народ, с тою разницею, что один «бежит от греха», сам: один догадался убежать во-время *от греха*, а другой не выдержал, наскочил на грех, не избежал греха, и бежит уже за железной решеткой. Но грех-то и там и там

один и тот же. Он заключается именно во всей этой истории великорусского крестьянина, о которой сибирский мужик не имеет понятия. Не имеет он понятия о барском доме, о «на конюшне», о бурмистре, о «барской барыне» или о «барском барине»; не орудовал над ним барин-вольтеррианец, не орудовал и не делал опытов барин-аракчеевец; не был он проигран в карты, пропит с цыганками, заложен и перезаложен; не был он дрессирован просвещенным агрономом, не был бит в морду Карлом Карловичем, не мечтал он о том, что «отберут землю», что земля божья, что вода божья, что леса божьи, и не разочаровывался во всем этом в такой убийственной степени, как наш, в конце концов доведенный до «греха», до бегства от него на край света или до пересылки, из-за него же, по этапу.

Ни при каких иных обстоятельствах «грех» нашей жизни не виден с такою поразительною ясностью, как именно здесь, на этом переселенческом пути из России в Сибирь.

«Последнее слово науки», пароход и вагон, мчат на «ковре-самолете» на поселение одинаково ни в чем не повинного и уже повинного в том-то преступника. Одна перевозка «виноватого» в течение двух-трех недель обойдется оставшимся на родине неплательщикам во сто раз дороже, чем то, что желал бы виноватый теперь мужик иметь на своей родине; там, на родине, он двадцать лет вопиял о *прирезке*, жаловался непрерывно в течение многих лет, что негде пасти скотину, что есть ему нечего, что платить нечем, и ни в чем

не получил удовлетворения; в волостном правлении его «сажали», понуждали, злили. Злой он колотил жену, обиженная жена жаловалась в суд; суд опять наказывал мужика, мужик со зла пропивал все женино добро, разорялся, воровал сначала хомут, а потом лошадь, а потом и что-нибудь еще посолиднее. И вот таким путем, со ступеньки на ступеньку, он достиг, наконец, до вагона; европейская выдумка точно о нем только и думает: с кандалами на ногах, он теперь аккуратно получает завтрак, обед, ужин, чистое белье, баню, «вентиляцию».

В том же поезде и на том же сказочном «ковре-самолете», по полутысяче верст в сутки, мчится «от греха» и родной брат этого кандальника. Он бежит от того же самого греха, от которого и кандальник стал кандальником. У него тоже тотчас после того, как он претерпел тяготы крепостного права, оказалось так мало средств к труду, а стало быть, и к жизни, к удовлетворению своих и государственных потребностей, что он тогда же стал жаловаться «*по форме*», «на бумаге», и неусыпно, в течение двадцати пяти лет, ждал все той же прирезки. Когда его наказывали за недоимку, он не бил со зла жену и не пропивал со зла ее трудового добра, а прямо, и вместе с женой, продавал это добро и платил. Продавали они и лишнего теленка, лишнего цыпленка и платили; нарастали новые тяготы, новые недоимки, – не роптали, не протестовали они злом или буйством, а покорно разбрехались всей семьей по кабальным местам, по фабрикам, заводам, заби-

рались за заработком на Дон, на юг, куда только ноги могли донести. Десятилетние ребята их уже стояли за сохой, были наняты, законтрактованы. Растративши все свои силы, все свои достатки, надорвавши силы молодого поколения с самого раннего возраста и окончательно потерявши малейшую возможность к чему-нибудь приложить свои руки, они, наконец, и летят на ковре-самолете в неведомые им места.

Мчит их ковер-самолет, робких, испуганных неизвестностью, оборванных и изнуренных, в большинстве совершенно неимущих и в лучшем случае увозящих на ковре-самолете, кроме пяти ребятишек (всегда без шапок и сапог) да пяти пудов сухарей, много-много пуда два «имущества» на всю семью. Это положительно *все*, что осталось от всей «родословной» истории этих крестьянских семейств, вынесших на своих плечах могущество чьих-то других родословий: два мешка «имущества», пять пудов сухарей и пятеро ребят без шапок и без сапог, – вот результат пустопорожней суеты нашей внутренней жизни и нашей бездействующей совести.

Как же не дать огорченной всем этим мысли отдохнуть в мечтаниях о крестьянине, который ничего подобного не испытал?

V. Переселенческое дело в Тюмени

Переселенческая станция, конечно, была первым местом, которое я посетил по приезду в Тюмень. Да и во все короткое время пребывания в Тюмени мне невозможно было уделить даже и малую часть времени, чтобы познакомиться собственно с Тюменью. Не мог я, конечно, не заметить, как хорошо место, где расположен этот город, как удивительно хороши берега и самая река Тура; но не мог не пожалеть, что тюменский обыватель не сумел сберечь для себя этого великолепного изгиба высокого берега, хотя бы для своего отдохновения, для прогулки; ведь вид-то какой! Тюменский обыватель устроил с этим берегом совершенно неблагообразные вещи; пройти по нем с одного конца до другого невозможно; можно видеть его только тогда, когда улица упрется в самый берег; а там, где она уперлась и где вы подумали, что, наконец, можете идти направо или налево по берегу, там, под углом к этому берегу, начинается новая улица, вправо или влево, застроенная домами, за которыми опять не видно берега. Кроме сожаления о пропаже этого чудного вида на простор долины за р. Турой, пожалел я и о самой Туре.

– Что это, как будто чем-то пахнет? – спросил я сторожа в купальне.

– Это еще слава богу! Сегодня воскресенье, заводы не работают; а как в будни, да пустят они свою грязь, так чисто

дохнуть невозможно!

Как раз против купален расположились кожевенные заводы, специальное дело Тюмени. При более подробном разговоре об этом деле оказывается, что «ничего невозможно поделать», ни купальню перенести, ни заводов.

Молва гласит, что об этом идет уже давно речь и толки, но все «ничего невозможно». Купальню даже и вовсе невозможно перенести ни выше, ни ниже: выше будет далеко, а ниже – начинается уже настоящий кожевенный смрад. Таким образом, и место хорошо, и вид великолепный, и река «лучше не надо», а купаться нельзя, потому что можно, во-первых, заболеть какой-нибудь кожной болезнью, а во-вторых, даже и задохнуться.

Но что действительно хорошо в Тюмени, это, во-первых, все, что делается по переселенческому делу, и, во-вторых, все, что касается удобств, связанных с передвижением и перевозкой по Тоболу и Оби. Пароходная набережная превосходна: снабжена всеми удобствами для загрузки и выгрузки товаров, для рабочего и проезжающего, подъездные пути удобны, вымощены, словом, все сделано вполне хорошо. Для проезжающих, кроме всех этих удобств, на пристани гг. Игнатова и Курбатова устроены даровые помещения, номера и общие комнаты, где проезжий может жить, в ожидании парохода, бесплатно. Этого нигде я не встречал и не видал.

Но опять-таки повторяю, что самое лучшее и самое важное, что только есть в Тюмени, это именно «переселенче-

ский пункт». Все, что касается этого сложного дела, все поставлено здесь хорошо, правильно, добросовестно и дельно. Конечно, все это могло бы быть сделано и еще лучше, и желательно бы было, чтобы количество средств, расходуемых как частным переселенческим Обществом (которому принадлежит постройка и содержание переселенческих барачков), так и размеры суммы, расходуемой на помощь переселенцам, могли бы быть увеличены, и притом увеличены значительно. Это даже положительно необходимо для того, чтобы дело, поставленное так хорошо и добросовестно, могло, при возрастании переселенческого движения, сохранить возможность не ослаблять, за недостатком средств, своей теперешней плодотворной деятельности. Средства необходимы. Но и то, что делается теперь на те средства, какие есть, – все это делается хорошо, добросовестно, а главное вполне по-человечески, без малейшей тени благотворительной фальши, и тем менее без канцелярщины и пустой формалистики. Здесь-то именно и подобает быть пределу всяким пустопорожним формальностям и всяким фальшивым сочувствиям «народу»; этот народ потому-то и попал на ковче-самолете в Тюмень, на переселенческую или арестантскую баржу, что над ним уже был полностью проделан опыт фальшивого сочувствия на словах и формального решения его судеб на бумаге. Вся бумажная и сочувственная народу фальшь завершила уже над ним свои операции. С этого момента надо, волей-неволей, начинать относиться к челове-

ку просто по-человечески. Острожника уже драли там, здесь надо ходить за ним, как за больным, вентилировать в его помещении воздух; надобно поить его лекарством, принимать участие в оставленной им на родине семье, писать ему письма, читать полученные им письма, думать о месте, где он будет жить, что будет есть и пить, – то есть делать именно то самое, что и надобно было бы делать там, «на самом месте-то преступления».

Человеческое внимание, обязательное к острожнику, к убийце и каторжнику, тем более делается неминуемым по отношению к переселенцу. Нельзя ему не помочь, нельзя его предоставить неизвестному, нельзя поставить его в положение человека, который может пропасть, умереть с голоду. И я с великим удовольствием могу сказать, что собственными моими глазами видел, что отношения людей, заведующих таким большим народным делом, вполне соответствуют ему. Дело делается по-человечески, то есть именно так, как оно и должно бы было делаться также и там, в глубине России.

Вот, например, письмо переселенца из нового, года два назад устроившегося поселка:

«Ваше высокоблагородие! Отпишите сделайте вашу божецкую милость в волость когда ж пришлют остатки по дому не имеем пропитания живем в бедствии и нищете. Бес капейки!»

Или еще лоскут бумаги!

«Свидетельство.

Я нижеподписавшийся крестьянин Казанской губернии (название уезда, волости, села), будучи в полном разорении, ибо почва и песчаные пространства, при неурожае, при всех моих силах моего многочисленного семейства, до такой нисчеты дошел, неимея пять лет урожаю, весь продан за долги то прошу Вас, отец и благодетель христа ради неоставьте меня с пятью детьми без пропитания. С подлинным верно»... Все это нацарапано каким-то грамотеем, который выбрал, вероятно из «Сельского вестника», мудреные слова, но не смог выдержать научного изложения далее трех строк; после слов «с подлинным верно» идут уже совершенные каракули подлинного крестьянского письма: «безграмотство родителя моего удостоверяю сын его Федор».

Спрашивается, что такое эти каракули и лоскутья с формальной точки зрения? Это не прошения, не жалобы, ходу формального им нет; наконец, самая бумага, не гербовая, уже прекращает всякое их значение. Так это и было всегда там, «на местах преступлений». Так было и здесь, в Сибири, когда переселенческое дело не сделалось, наконец, предметом хоть сколько-нибудь серьезного внимания. Такого рода лоскутья и прежде не выбрасывались в мусор и не выметались вместе с ним вон из дома; нет, они вкладывались в огромный лист писчей бумаги, с разными буквами в верхнем углу; на бумаге, за номером 155 666, писалось отличным почерком, что, за непредставлением гербовых пошлин, лоскут

сей возвращается «без последствий» в то самое место, откуда пришел; все это запечатывалось в пакет, отсылалось на почту, достигало волости, которая вызывала человека, живущего «бес капейки», за сто верст, и вручала ему собственный его лоскут обратно, «без всяких последствий».

В настоящее время дело стоит здесь совсем уж не так. Всякий такой лоскут есть действительная просьба, подлинная жалоба человека, нуждающегося в помощи, которому и надобно помочь на деле. Из этих двух примеров вы видите, что дело переселенческое не ограничивается только приютом на тюменской переселенческой станции. Необходимо хлопотать за человека, живущего «бес капейки», там, «на месте преступления»; необходимо известить его о том, что о нем хлопочут, понудить и повторить просьбу, если замешкались с высылкою денег, оставшихся от продажи за долги дома. Все это необходимо сделать для заброшенного на чужбину человека, и все это делается.

Кроме помощи переселенцам, необходимой им здесь, в Тюмени, на билеты, на харчи, на покупку телеги, – помощь эта не сегодня-завтра потребуется и с места нового населения. «Ваше благородие! лошадь околела, нет способов!», «Ваше благородие... Есть нечего. Хлеба нету...» И на эту помощь необходимо сберечь частицу ассигнованных министерством сумм. Но «помощь постоянная требуется и во множестве других случайностей» жизни переселенца.

– Ваше благородие! У меня деньги пропали! Явите боже-

скую милость.

Деньги пропали у ходока, деньги мирские; нет возможности ни воротиться, ни идти вперед. Надобно искать их, хлопотать, ехать к начальству и в случае неудачи выручать, переписываться.

Точно так же исследуется даже и тот запутанный документ, удостоверенный «родным сыном Федором», о котором была речь выше. И это подлинная просьба, хотя и не на большом листе и хотя нацарапана в самом бессмысленном виде. Человек, который вытащил из-за пазухи этот лоскуток, подписанный его сыном, как единственное свое право на участие к нему начальства, может быть уверен, что именно это-то безграмотный лоскут и есть действительное его право на внимание и попечение о нем. Это я также видел своими глазами.

– У тебя есть какой-нибудь документ?

– Как же, есть-с!

– Ну-ка, покажи.

Из-за пазухи, и затем из тряпки, выматывается тот самый лоскут, о котором была речь.

– Да это не документ.

– А как же не документ-то? Ведь пять годов неурожай был? Помилуйте! Из-за чего же мне платить-то? Тут вполне удостоверено.

– Если бы хотя начальство подписало, а то ведь сын... ТВОЙ...

– Так я и начальникам показывал. «Удостоверено, говорят, по безграмотству, правильно...» Пять годов неурожаю. Явите божескую милость!

Непонимание, неумение даже понять начальнического вопроса, все это еще недавно обрекало нищего пешехода на полное невнимание. Что с ним делать? В самом лучшем случае можно было сжалиться, дать гривенник и сказать: «не взыщи!»

Ни тени подобного отношения к переселенческой нужде в настоящее время уж нет во всем том, что я, к великому удовольствию, видел здесь в первый же день.

VI. В переселенческих бараках

Жизнь переселенческого барака начинается с раннего утра. Уральский поезд приходит в Тюмень в 5 часов утра с минутами, и переселенцы (приезжающие непременно с каждым поездом), забирая свои пожитки, плетутся прямо в переселенческий барак. Мирской толк «калякает», что иногда Уральская дорога поступает с бедным народом слишком формально. Иной раз большая переселенческая семья не в силах бывает сразу перетащить с вокзала свои вещи, а нанять извозчика не на что; зная, что через день, через два ей, этой семье, выдадут пособие на покупку лошади и что тогда можно будет уже на ней съездить и получить вещи, переселенцы оставляют эти вещи на день, на два невзятыми из багажа, и всякий раз дорога не упускает случая взять с них за «полежалое», что весьма значительно увеличивает стоимость перевозки. Между тем и сама дорога иногда ставит переселенцев в затруднение, а убытков, которые они от этого несут, на себя не принимает. Однажды она набила товарный вагон тюками с табаком и переселенческими мешками с сухарями; соседство это пришлось мужикам не по вкусу, просьба о разгрузке была уважена, но вот как: вагон с табаком и сухарями отцепили, оставили его на какой-то станции или полустанке, а поезд ушел в свое время далее. Покуда перегрузили вагон и доставили сухари в Тюмень, ушел пароход, и пересе-

ленцы должны были напрасно харчиться целые четверо суток. Впрочем, при мне же был случай, что и Уральская дорога бесплатно перевезла несколько полтавских переселенцев, не взяв с них ничего ни за проезд, ни за багаж. Сделалось это, как говорят, благодаря участию пермского губернатора. Хорошо это, конечно, но надобно бы вообще относительно переселенцев выработать какой-нибудь определенный и непременно самый снисходительный образ действий. Уральскую дорогу переселенцы не хвалят. Пароходчиков по Каме и Волге одобряют (2 р. от Нижнего до Перми и даже до 1 р.). Хвалят и одобряют Нижегородскую дорогу (ничего не берет за багаж), одобряют вообще Москву («Дня не ждали! Сейчас с вокзала на вокзал переправили!»), а вот Курскую опять не одобряют, ни в чем не послабляет бедным людям. От Тюмени до Томска берут в 3-м классе парохода вместо 6 рублей 5 рублей 10 копеек и за багаж по 50 коп. пуд². С детей как на пароходах, так и на железных дорогах также, смотря по возрасту, берут и за полбилета и за 3/4. Берут плату с четырехлетнего возраста. Недавно, впрочем, в Тюмени появился новый предприниматель, некто Функе. Выстроив на заводе г. Игнатова два парохода, он устроил специально переселенческие рейсы. Перед самым моим приездом ушел в Томск и Барнаул один из таких пароходов, вместивший бо-

² 50 коп. брали за пуд «багажа», а багаж этот главным образом сухари. Пуд муки стоит 60 к.; сосчитав все эти тарифы – во сколько обойдется пуд сухарей от Курска до Томска?

лее тысячи человек. Плату г. Функе назначил очень низкую – 5 руб. не до Томска, а до самого Барнаула, и надо думать, что предприниматель не останется в убытке.

Переселенческие бараки, куда направляются переселенцы прямо с вокзала, лежат за городом, на высоком берегу Туры, в небольшом от нее расстоянии, в просторном, со всех сторон открытом месте. Бараки расположены большим четырехугольником, причем три стороны пока только забор, а четвертая, обращенная к реке, застроена жилыми помещениями. По углам левой, от входных ворот, стороны выстроены большие кухни, а между кухнями большой барак, разделенный на четыре отделения. Каждое отделение просторно, с тремя большими окнами, перерезанными широкими нарами, идущими вокруг стен. Воздуху много, потолков нет и в крыше сделаны приспособления для вентиляции. Человек сто смело могут поселиться в каждом из этих отделений и тут же поместить свои вещи; но в нынешнем году бывали дни, когда в бараках скапливалось более полуторы тысячи переселенцев, вследствие чего в дождливое время теснота в бараках бывала необыкновенная. Общество, устроившее бараки, говорят, будет строить в будущем году еще такой же новый барак, причем во всех бараках, как в старых, так и в новом, будут сделаны печи; в прошлом году переселенцы шли и в декабре, а с февраля, когда еще зима везде на Руси стоит настоящая, переселение уже начинает принимать значительные размеры. Там же, на переселенческом дворе, по-

мещается и флигелек с аптекой, с комнатой для больных и с конторой, где записываются все прибывшие переселенцы. Все это может быть сделано и лучше и просторнее. Некоторые нетерпеливые, лихорадочно стремящиеся поскорее, не теряя ни минуты времени, попасть на новые места, тотчас же по приезде *бегут* к заведующему переселенческим делом чиновнику П. П. Архипову и теребят его своими требованиями. Таким образом, дело начинается с раннего утра, и дело самое хлопотливое. Каждого переселенца нужно подробно расспросить о его положении и средствах и сделать так, как ему будет лучше и удобнее. Вот этот нетерпеливый человек с огромной, в девять человек, семьей умоляет отправить его на пароходе; ему не под силу ждать; он в сильнейшем нервном расстройстве. Он до того спешит, до того «не примаёт» во внимание никаких резонов, что односельчане, которые идут с ним, приходят просить заведующее переселенческим делом лицо уговорить этого нетерпеливого погодить *только* день.

– Все бы уж уместях! Как же так бросать-то своих? Куда же мы одни-то?

– А мне чего ждать-то? чего мне годить?

– Да дай хоть рассудить-то! Погоди!

– Рассуждай не рассуждай, идтить надо! Мне ждать не подходит. Отпустите, ваше высокоблагородие, сделайте божескую милость!

– Остановите его, ваше сиятельство! Как же мы-то? Уж

увместях бы.

Это несогласие требует продолжительных толков и внимания к малейшим мелочам жизни этих людей. Часа два битых нужно доказывать выгоду того-то и невыгоду этого, урезонивать, усовещевать. В конце концов всегда оказывается, что обе стороны приходят к такому решению, которое выгодно для них обеих. Высчитывается, что ехать нетерпеливому человеку на пароходе невыгодно, приводится цифра платы за билет, за багаж и расходы на продовольствие. Доказывается, что, доехав до такого-то места на пароходе, далее необходимо ехать сухим путем и, следовательно, покупать лошадь. На покупку надобно просить ссуду и, следовательно, резоннее всего не спешить, купить лошадь и ехать всей партией на лошадях до места.

Но и на этом резонном соглашении дело не оканчивается. Положим, что переселенцы убедились, наконец, ехать на лошадях, – надобно похлопотать еще и о покупке этих лошадей, позаботиться, чтобы не пропали деньги даром, чтобы барышники не надули. Любопытное дело: в прошлом году прошли через Тюмень внутрь страны более восьми тысяч человек, которым необходимы были лошади. Полагая по одной лошади на десять душ, вот уже восемьсот голов; кажется, количество весьма почтенное для любого предпринимателя, занимающегося «лошадиной частью»? Между тем все эти лошади покупаются у местных жителей, изнуренные, искалеченные, в большинстве совершенно негодные к работе,

еле способные дотащить ноги до места, да и то еще слава богу, если дотащат. Никто из промышленников не попытался здесь, на таком большом деле, даже и денег-то нажить с расчетом. Наживает деньги плут, надуватель, и наживает огромные деньги. С нетерпеливого мужика он дерет втридорога, 15 рублей цена молодой лошади, а барышник берет с переселенца за клячу 35 и 40 р. Нетерпение попасть скорее на место, не сидеть праздно, ехать – делает то, что и практический мужик постоянно попадаетея впросак при покупке лошадей у барышников; бывают случаи, и очень частые, что барышники продают *пьяных* лошадей. Накатит ее водкой, доведет до самого азартного настроения духа; нетерпеливый мужик не рассмотрит, отхватит ее «обем рукам» и, тотчас же отправившись в путь, скоро видит, что его надули, лошадь ослабла, еле передвигает ноги. Чтобы избежать таких случаев и не задерживать человека на пути, не запутывать его новыми пособиями (ведь их надобно возвращать), надобно и лошадь-то видеть собственными глазами, и с продавцом переговорить, – не плутует ли? – и знатоков спросить, и тогда уже выдавать пособие на ее покупку. В большинстве случаев приходится, однакоже, при всей осторожности в этих покупках, приобретать товар весьма дурного качества.

Не всегда, однакож, урезонивается нетерпеливый человек. Я видел одного из таких нетерпеливых. Сговорившись не оставлять своих «курских» и ехать на лошадях, он, по счастью, в тот же день уже купил и лошадь и телегу. Нетерпение

снова овладело им в еще большей степени, чем прежде. Едва он приехал с лошадьё и телегой в барак, как тотчас же принялся таскать в телегу вещи. Валил он их как попало, один узел на другой, торопился и был весь мокрый от пота.

– Ребят-то куда ж посадишь?

– Эво, колько места ребятам!

– Да ведь на них свалится этот мешок-то! И этот!

– Авось нет!..

– Да постой, постой! – урезонивал его старый гвардеец-сторож (к несчастью, однако, «убивец», хоть и неосторожный), – не спеши ты, не суетись! Ты подумай, как ты ребят по жаре повезешь? Видишь, как палит? Ведь они огнем сгорят...

– Авось ничего... рядом... у баб есть!..

– У баб, у баб! Чего ж ты рядом их будешь кутать, и так жарко... Поди вон наруби хворостины, видишь вон у берега?

– Эво чего!

– Да ты не дури, бестолковый человек! Сделай кибиточку, накрой рядом-то... Долго ли сбегать нарубить? Чего ты как угорелый суешься? Надо толком справить, дорога дальняя...

– Справим и дорогой!

Так и не урезонили нетерпеливого, уехал, не дождав своих, даже ни на кого не оглянулся.

Бывали и не такие еще случаи нетерпения добраться до места. Рассказывают, что такие нетерпеливые просто-напросто бросали в поле больных своих товарищей и даже близких

родственников, а сами уезжали далее.

Нервное возбуждение, как следствие коренного переворота в жизни, играет в переселенческом движении не последнюю роль, особенно между женщинами. Переселенцы, неожиданно возвращающиеся на родину, не дойдя еще до назначенного им места и, стало быть, даже не попробовав жить на новых местах, в большинстве случаев делают это под влиянием нервного расстройства своих жен. Оторванная от всех привычных связей, родственных, соседских, оторванная от всех мелочей трудового дня, которые наполняли всю жизнь, лишенная в этой долгой, длинной дороге возможности жить всем тем, чем жилось и без чего все окружающее начинает только пугать неизвестностью и тайной, – нервная женщина впадает в припадок какого-то безотчетного испуга, страха; ничего не видит, не знает, не чувствует, кроме того, что оставлено дома, и той жизни, какая была там. В таком безотчетном ужасе она иной раз просто соскакивает с телеги, бросает детей и бежит, сама не зная куда, полагая, что домой, а за ней, в паническом страхе, бегут и мужики.

Как рассказывают, с женщинами бывали и другие, более потрясающие случаи. Одну такую женщину постоянно связывали веревками всякий раз, как она выходила из вагона или парохода. На переселенческой станции в Тюмени ее неустанно караулили, так как она только и думала о том, чтобы убежать домой. Рассказывали даже, что упорство ее не идти в Сибирь было так велико и непоколебимо, что когда

на родине пришлось, наконец, двинуться из родной деревни в дальний путь, ее, бунтующую, должны были приковать к телеге. Рассказывают еще про одну девушку, которую родители отдали замуж, утаив от нее то обстоятельство, что семья, в которую она вошла, не дальше как через месяц уйдет в переселение. Не раскрыли ей тайны ни муж, ни мужнина родня. Неожиданность была для нее так велика, что она сразу как бы помутилась умом, таяла, как воск, и постоянно заливалась слезами.

Вообще переселяющиеся женщины возбуждают иногда глубокое огорчение за их положение и участь. Вот идут на переселение молодой мужик, баба и трое ребят. Они переселяются форменным порядком; у них есть и увольнение от общества, и бумага, в которой точно обозначен пункт, на котором они поселяются. Они ходили, истратив все до копейки, и оставляли на родине старуху, мать бабы, с двумя ее внучатами от другой дочери, вдовы, также умершей, мальчиками двенадцати и девяти лет. На переселение матери, жены мужика, не было уже никаких средств; о ее переселении не хлопотали и не писали; не значится она в числе уволенных из общества, ни в числе причисленных к какому-нибудь переселенческому участку. Она решила остаться дома, на старом месте, пока ее дочь и ее муж справятся на новом.

Но чем ближе подходил день разлуки с дочерью и зятем, тем жизнь старухи становилась мучительнее. Как она справится одна и на старости лет? Положим, что мальчик в две-

надцать лет по теперешним порядкам – работник, и будет законтрактован, и деньги даст своим трудом, но ведь с отъездом дочери и внучат у нее оторвется от сердца все дорогое. И старуха не выдержала. Без всяких разрешений и бумаг собрала она что у нее было, последние остатки имущества, и, забрав своих мальчонков, уехала с дочерью и зятем в Сибирь. Не могла она расстаться с ними. Когда я увидел эту семью, отношения между семьей дочери и старухи были такие: она не отставала от дочери и зятя, не теряла их из своих глаз ни на минуту, но держалась как чужая, то есть не давала дочери малейшей возможности думать, что она сядет на ее шею. Зять же и дочь, так неожиданно испуганные выдумкой своей старухи и одолеваемые страхом трудности предстоящей жизни, также как бы не замечали своей матери, а может быть боялись расчувствоваться. Всю дорогу старуха сама вымаливала себе уступки в проездной плате, просила христовым именем и ни на шаг от своей семьи не отставала. Здесь же, в Тюмени, дело ее приняло крутой оборот, настала решительная минута: дочь и зять могут получить пособие (у них все по форме), а у нее нет ни денег, ни лоскута бумаги. Дочь может уехать, и тогда что же будет с ней?

Часу в седьмом вечера идет переспрос всех прибывших переселенцев и проверка их видов и бумаг. Дочери и сыну объявлено было приходить завтра за деньгами на покупку лошади. Когда шел об этом разговор, старуха со своими внучатами стояла в стороне; когда кончился разговор, дочь и

сын поклонились и ушли с своими ребятами, не смея сказать чего-нибудь о старухе. Тогда старуха вышла сама с двумя мальчиками.

– Как тебя, и откуда? – перелистывая список, спросили ее.

– Да меня, батюшка, нету в бумагах! Я без спросу ушла...

– Куда же ты идешь?

– Да я бы с дочкой хотела в одном месте жить, с зятем. Не дай ты мне отстать от них. Помоги мне, отец родной!

– Так есть у тебя зять, ты с ним и иди!

– Нет! Не возьмут они меня! Им самим невмоготу... Им взять нельзя меня! А ты помоги мне, тогда я пристану к ним, не расстанусь!

Вот положение, не предусмотренное никакими существующими правилами о переселениях. Ушла сама без бумаг, добралась до Тюмени, идет куда-то, не имея определенного пункта для поселения, идет, побуждаемая только жалостливым сердцем, не смея и думать о том, чтобы отягчить собою трудное положение дочери.

– Помоги мне! Пусти с ними вместе... Помоги! Помоги, батюшка! Тогда они и сами меня возьмут!

Дело было понято и сделано так, что на следующее утро благодарить за него пришел уже старухин зять, для чего не поленился нарочно пойти в город.

– Благодарим покорно, васскобродие! Берем старуху нашу. Пишите ее к нашей семье, и с внучатами с ейными... Слава богу! И пускай уж все увместях!

А вот уж и совсем беспомощная женщина. Вдова с пятью детьми, из которых старшему десять лет. У нее была там, на родине, одна мужицкая, то есть платежная душа, и, следовательно, она имела «надел», и она поэтому переселяется по всей форме: и в списке значится и бумагу имеет, но она нищая буквально; кроме того, она больная, у нее все лицо покрыто какою-то густою, малинового цвета сыпью; она плохо видит больными глазами. Поистине страшно было смотреть на эту обремененную детьми, одинокую женщину. И какие славные были у нее ребята!

– Где же твои дети?

– А вон старший-то! Ваня! Подь сюда!

Старший мальчик, весь оборванный и босой, покраснел, как девушка: так ему совестно было выделяться из толпы и предстать в своем нищенском виде. Да! мальчик этот был и нежен, и симпатичен, и глаза у него прекрасные, словом, он был ничуть не хуже чем наш с вами, любезный читатель, родной сын, этот милый гимназистик, – только вон он не ел целый день, раздет чуть не донага, нет на его голове шапки, а на ногах сапог. А то он совершенно такой же милый мальчик, как и наш родной и любимый сын!

Немало и личной тревоги возникает на душе постороннего посетителя тюменских бараков, когда он хоть немного освоится с интересами толпы, наполняющей переселенческий двор. Здесь отношения его к крестьянину принимают совершенно иной характер и смысл, чем это было при обы-

денных отношениях барина к мужику. Никогда он не слышал от него такого простого слова о его нужде и никогда не имел случая так просто, как здесь, расспрашивать его о его желаниях. В нашей обыденной жизни нет таких минут, которые бы мы могли исключительно посвятить вниманию к народной нужде, и видели бы, что разговор о помощи и о нужде не просто разговор, а действительная помощь, не пустое слово, а самое настоящее дело. И получаса таких разговоров совершенно достаточно для того, чтобы исчезла всякая возможность видеть хотя малейшую разницу в желаниях человека, так сказать, культурного, и желаниях и нравственных потребностях этого разутого мужика, окруженного кучей разутых ребят. Здесь (именно здесь и нигде больше) такой разутый человек, мужик, не пришел к «барину» наниматься, не продает барину дрова или поросенка, здесь барин не нанимает его за двугривенный принести то-то или отнести, наколоть дров или запрячь лошадь; здесь он находится просто в положении человека, исключительно заинтересованного делом общечеловеческим, и пред ним не мужик, не извозчик, не нищий, не ломовик, а точь-в-точь такой же человек, как и он сам, только барин обут, одет и сыт, а мужик голоден, бос и наг. Но в разговорах барина и мужика друг с другом оказывается, что оба они одинаково пекутся о детях, одинаково озабочены их судьбою, одинаково желают им счастья, одинаково мучаются об их темном будущем, печалются о семействе, о старухе матери. Оказывается, что оба они доро-

жат собственной совестью, честью, хотят жить «порядочно», чисто, словом, что они именно *родные братья*, никогда не встречающиеся в жизни при таких бескорыстных условиях, как здесь, на этом дворе тюменских барачков. Часто ли удавалось культурному человеку без всякой корыстной цели или без всякой личной надобности, но по простому указанию человеческой совести, приходиться к простому бедному мужику и говорить ему:

– Тебе надобно помочь. Тебе трудно. Тебе надобно земли, лошадь; тебе нужно кормить-поить детей. На-ко, возьми эти деньги.

Никто из нас никогда этого не видал, а стало быть, и не знает, что значит видеть в этом босом человеке, в его босых детях, в изнуренной жене – наших родных братьев, точь-в-точь таких же, как наши, – детей, и точь-в-точь таких, как наши, – жен.

В обыкновенных наших отношениях никогда не придется нам испытать, ничего подобного; никогда как братья, как люди с совершенно одинаковыми печальями жизни, мы не сходились так близко друг с другом и никогда не ощущали такой неправды в разнице положения. И вот почему до сей минуты не приходит желания «набросать» какую-нибудь «жанровую картинку», чтобы хоть немного повеселить читателя.

VII. Река-пустыня. – Переселенцы в Томске

Под вечер жаркого июльского дня, после восьмидневного почти непрерывного движения по реке Оби, пароход компании Игнатова, наконец, бежал уже по р. Томи, приближаясь к г. Томску.

Река Томь была действительно «река», то есть были у нее ясно видимые берега, и притом берега живописные, и виднелись по этим берегам кое-какие строения, в которых, очевидно, жили живые люди; все это говорило, что бесконечная водяная пустыня Оби, без берегов и почти без признаков человеческого жилья, окончилась, что начинаются «жилые места», что скоро можно быть опять среди людей, которые «живут», а не только «едут», и думают и говорят лишь о том, что «много ли, мол, проехали?» да «скоро ли приедем?»

Всем истомленным впечатлениями пустынной реки пассажирам парохода нетерпеливо желалось поскорее очутиться в городе, в суе, в движении привычной городской жизни. Нетерпеливее и взволнованнее всех были, конечно, переселенцы, для известного числа которых в Томске должны были окончиться их скитальчества, так как участки, нарезанные им для поселения, находились от этого города сравнительно уже в недалеком расстоянии. Но и всякий иной проезжающий, купец, чиновник, ученый или просто турист-пу-

тешественник, не могли не ощущать удовольствия вновь попасть в обычную колею жизни, от которой оторвало их восьмидневное пребывание на этой пустынной реке.

Иногда кажется, что река Обь вовсе даже и не река: затоплено водою необозримое пространство леса. Из воды торчат верхушки деревьев, потопленных, вероятно, дремучих лесов, потопленных как будто бы парков, групп деревьев, одиноких деревьев, кустов. Кое-где видна крыша потопленного рыбацкого домишки. По временам, в два дня раз, видится церковка, также как бы стоящая на воде. В два дня раз пароход, идущий между этими верхушками затопленных лесов, древесных групп и одиноких деревьев, пристает к берегу, причем место причала всегда носит какое-нибудь географическое название, напр<имер> Сургут, Нарым, но на берегу нет и не видно ни Сургута, ни Нарыма, а лежат только тьмы-тем дров, заготовленных для парохода, стоит остяцкая юрта из березовой коры, да неподалеку от нее какая-то пустая хибарка с почтовым ящиком у запертой двери. В Нарыме, впрочем, на берегу выстроена церковь и есть лавка, да и город сравнительно недалеко; во всех же других пристанях, имеющих на картах каждая особенное наименование, ничего нет, кроме дров да штук пять торговых, неведомо откуда взявшихся с булками, молоком, рыбой, ягодами, а затем опять вода, потопляющая леса, вода и вода целых двое суток, чтобы два часа иметь удовольствие видеть землю.

Действительно, первое время непривычно чувствуешь се-

бя среди этой пустыни, но в конце концов выходит как-то так, что не можешь не быть благодарным судьбе именно за то, что она дала возможность «окончательно» прервать всякую связь с изнурительными впечатлениями действительности, дала возможность на целые восемь дней отстранить себя от всяких «злоб дня» и тем успокоила измаявшиеся нервы.

Чего стоит удовольствие сознавать хотя бы только то, что в географических картах река эта значится не в том полушарии, где живут господа Бисмарки³ и другие великие люди, и где огромный кулак, образующийся из дружественного рукопожатия трех монархов, германского, итальянского и австрийского, именуется эмблемой мира и всеобщего благополучия. Нет! Пароход Игнатова везет вас совсем в противоположную сторону от этого кулачища: впереди вас не Пруссия, не германская граница, то есть не загородь от дружественного союза, из которой уже высовываются сверкающие кончики штыков, а бесконечная тайга, обширность, тьма и духота которой не дают вашей мысли даже и тени возможности предположить в ней что-либо подобное дружественному против вас союзу. За тайгой рисуются страны, обитаемые народами мало ведомыми – китайцы, японцы. Дальше океан, а

³ *Бисмарк*, Отто, князь (1815–1898) – государственный деятель Пруссии, с 1871 года рейхсканцлер Германской империи. Политика Бисмарка была глубоко враждебна России, в которой он видел главное препятствие для первенства Германии среди европейских государств. В 1879 году Бисмарк заключил военный союз с Австро-Венгрией, в 1882 году к нему присоединилась Италия. Был образован Тройственный Союз, направленный против Франции и России.

за океаном Америка, страна без Бисмарка и Буланже⁴. Канцлер и три дружественные фигуры, заслоненные собственным триединым кулаком, уходят от вас куда-то назад, затуманиваются и, наконец, совершенно исчезают, забываются; тяжелое бремя тяжелых мыслей покидает вас, и освобожденному хоть на время сознанию есть свободные минуты отдохнуть и побыть спокойным.

Иной раз и сама жизнь этих пустынных тайговых мест какою-нибудь неожиданностью отбрасывает вас от современности на такие непомерные расстояния, что потом и дороги-то к этой современности долгое время отыскать не можешь.

В Тобольске пришлось мне ждать тюменского запоздавшего парохода более шестнадцати часов.

Все это время я провел на пароходной пристани, где для проезжающих устроена комната. Три деревянных дивана и два деревянных стола, выкрашенные красной масляной краской, – вот убранство этой каморки. Компаньонами моими в ожидании парохода были какие-то сургутские торгов-

⁴ *Буланже*, Жорж-Эрнест (1837–1891) – французский генерал, в 1886–1887 годах военный министр, добившийся установления во Франции военной диктатуры, используя недовольство реакционной политикой буржуазных республиканцев со стороны мелкой и средней буржуазии. В 1889 году Буланже был избран в палату депутатов, но его тайные связи с монархистами оказались разоблаченными, он был лишен депутатской неприкосновенности и бежал в Бельгию, где покончил с собой в 1891 году. Для Успенского Буланже олицетворял тип авантюриста, появившегося в обстановке политического кризиса, фигуру, типичную для капиталистического мира, где «господин Купон» угнетает и грабит трудящихся.

цы, люди мещанского типа и костюма. В Тобольске закупили они всякого товару и всего понемногу: керосину, чаю, сахару. И ничем бы они не привлекли моего внимания, если бы не следующий тайговый эпизод.

В ожидании парохода один из этих торговцев спал, другой «лечился» какой-то настойкой от живота: выпьет рюмку этой настойки и некоторое время сидит, открыв рот и охая, так эта настойка жжет ему все нутро, а потом и ляжет в изнеможении. Третий, младший, продолжал бегать на базар, который был близко, и покупал там, что могло бы пригодиться в Сургуте. Раз притащил ковер в два рубля, другой раз женское платье, шелковое, истрепанное, но отличнейшей работы. Платье это, вероятно, много перевидало на своем веку, пройдя от Парижа до тобольского базара, где какая-нибудь несчастная арфистка, оставшись без куска хлеба, сбывла его торговке за полтинник и дала этой торговке возможность нажать рубль. Сургутский мещанин тщательно рассмотрел это платье во всех отношениях и нашел, что оно пригодится его дочери, еще только двенадцатилетней девушке, чем и засвидетельствовал о размерах роста двенадцатилетних тайговых девиц.

Скоро возвратился он с новой покупкой; он принес трех живых стерлядок, купленных тут же у парохода с лодки.

– Пора уж и закусь! – говорил он, положив этих стерлядок на стол. – Хлеб есть, соли надо попросить!

Пока он ходил за солью, стерлядки прыгали по столу и как

бы стремились уйти.

– Погоди, чего прыгаешь-то? – с солонкой в руках входя в комнату, говорил мещанин и подхватил готовую упасть на пол стерлядь. – Чего трясешься-то? Озябла? Вот я тебя сейчас погрею в теплом месте!

Он принялся будить сонного товарища и приглашал больного принять участие в завтраке.

– Поднимайся! Давай настойки по рюмочке... Вишь какая свежина!

– Почему? – спросил больной.

– Две копейки за тройку... Вставай. Разговаривая так, он вынул из кармана брюк ножик, раскрыл его и... разрезал рыбе брюхо! Затем он вырвал внутренности, вынес рыбу, чтобы ее вымыть, и когда принес назад, рыба, хоть и зарезанная, обнаруживала еще признаки жизни.

– Сейчас, сейчас обогрею тебя, голубушка! Не торопись! Будешь в теплом месте!

Положив почти живую еще рыбу на одну руку, он другою зачерпнул соли и щедро посыпал ею рыбе тело. Она заби- лась.

– Постой, не дерись! Не будет обиды!

И затем он быстро отрезал часть стерляди у хвоста и стал ее есть.

– Как? – воскликнул я в изумлении. – Живую? Сырую?

– Очень просто!

Мещанин чмокал сырым мясом, чрезвычайно искусно

снимая его зубами с оболочки рыбьей кожицы.

– Очень даже просто! Прямо едим живое мясо, кровушки тоже пососать очень приятно!..

Отхватив другой кусок от стерляди, в которой еще теплилась жизнь, он пососал этот кусочек, почмокал и опять искусно снял зубами сырое мясо с рыбьей кожицы.

Изумление мое при виде этого «живоеда» было, вероятно, до того велико и так явственно сказалось в тоне моего голоса, которым я произнес мой вопрос, что и другие живоеды, находившиеся в комнате, заинтересовались моим, очевидно, необыкновенным положением ошеломленного зрителя. Они с улыбкой смотрели на меня и говорили:

– Как же? Живьем едим! Сырьем... Ничего! А зимой и мясо сырое тоже едим... мерзлое, ничего! Нам это надо, нельзя нам иначе, такая наша жизнь!

А затем пошли разговоры и об этой самой жизни, из которых оказалось, что по местным условиям живоедство есть даже необходимость. Но хотя невероятное зрелище и получило, наконец, некоторое объяснение, все-таки впечатление получилось в высшей степени необычайное. Почти мгновенно я был перенесен мыслью в царство и времена ихтиозавров и летучих ящеров и потерял всякую возможность, по крайней мере в скором времени, каким-либо родом добраться до понимания и ощущения самого себя в современных условиях жизни.



Совершенно иного рода впечатления испытывали переселенцы, всю дорогу поглощенные нетерпеливым желанием поскорее доехать «до места», до земли и до нового местожительства, и чем ближе пароход подходил к Томску, тем сильнее возрастало в них нетерпение. Томск для большинства переселенцев имеет роковое значение; здесь оканчивается дальняя дорога и предстоит только небольшой переезд до участка, отведенного переселенцу, и вместе с тем предстоит начало новой жизни, начало нового хозяйства на новой земле.

Истратив на переезд до Томска все средства как собственные, так и выданные в помощь от казны и от благотворительного комитета, множество переселенцев с полной уверенностью и без малейшего сомнения надеются, что в Томске-то именно и будет им дано настоящее пособие, не в пять и не в десять рублей, а много побольше, так как на обзаведение и начало хозяйства много надо денег. Десять, даже тридцать рублей пособия – это едва только хватило на прокормление семьи и лошади или на харчи при переезде на пароходе; здесь, отправляясь на новые места, нужно иметь денег на всякую малость.

Но именно в Томске-то и ожидает этих мечтателей полнейшее разочарование. В 1888 году в Томске не было и бла-

готворительного общества⁵, и все пособия шли единственно от г. Чарушина, бывшего тогда заведующим переселенческой станции. Г. Чарушин находился поэтому в том же беспомощном положении, как и сами переселенцы.

Имея в своем распоряжении не больше пяти-шести тысяч, он не в силах выдавать на семью более пяти рублей, круглым счетом, причем и из этих-то денег должен был уделять немалую часть – на ремонт барачков, не имеющих ни малейшего подобия с барачками тюменскими.

Переселенческие барачки выстроены в Томске второпях и поспехам. При начале переселенческого движения какой-то предприниматель, вздумав нажить на этом деле «деньгу», набил свой пароход переселенцами битком, препятствовал им покупать на пристанях харчи, поставил их в необходимость брать все съестное у него же на пароходе по ценам, невозможным для переселенцев. Результатом этих корыстолюбивых планов было то, что пароход привез к Томску озлобленную и ожесточенную толпу, полуголодную, почти разорившуюся и привезшую с собою несколько трупов как взрослых, так и детей. Томское общество, под живым впечатлением испуга пред неожиданным появлением в городе такой массы недовольного, измученного и голодного люда,

⁵ В настоящее время уже есть благотворительные общества и в Томске и в Иркутске. Последнее оказывает переселенцам небывало щедрую помощь. В три дня, с 23 по 26 июля, через Иркутск прошло 46 семей переселенцев, в количестве 276 душ, включая детей; в пособие им благотворит-ельное> общество выдало 2366 р.

поспешило кое-как устроить для него помещение и кое-чем ему помочь. Помещение, таким образом, могло быть устроено только наскоро, причем сделано, конечно, невольно множество недосмотров. Станция выстроена на низменном, болотистом месте; каждую весну оно все затопляется водою, так что теперешние бараки заливаются чуть не до потолка, – по крайней мере двери заливаются доверху. Самые бараки сколочены из толстых досок и притом кое-как. При таких условиях никакие ремонты не поправят дела, хотя постройки, сделанные г. Чарушиным (баня, забор), не имеют с прежними постройками «кое-как» никакого сравнения. Сырость, неуютность, долго не просыхающие лужи на неровной, изрытой местности двора, все это требует расходов для очистки и осушки и все-таки не приводит ни к каким видимым результатам, кроме видимого потрясения переселенцев, когда пятирублевкой, выданной г. Чарушиным, окончательно разрушаются все фантазии о начале новой жизни и окончательно делается ясным, что ни о какой иной помощи не может быть более и речи.

– Что ж это такое? – весь ослабевший от голода, усталости, а главное от испуга перед будущим, бледными губами лепечет иной мечтатель-переселенец, держа в дрожащей руке пятирублевку.

Он стоит как бы в столбняке.

– Это вы, очень просто, хотите нас, бедных людей, со света извести! Просторней будет! Очень это просто теперь ока-

зывается нам!

Стоит только бросить эту мысль в толпу переселенцев, окружающую пораженного пятирублевкой бедняка, чтобы мысль эта тотчас же получила полное доверие толпы.

– Верно! верно, – слышится среди нее. – Кабы нас, бедняков, разорить вконец не хотели, *так богатых бы, а не бедных, на пересел-то заманивали!* Богачей надо бы переселять-то! у богатого есть деньги и всё есть! Сам может справиться на новом-то месте. А нашего брата подманивают богатеи только для подвоха. Только бы нас с места увести, а там подыхай, наплевать!

– Да и есть один чистый обман! Ежели бы не было подвоха, так нас всех бы надобно по этапу препроводить! Вот как надо-то, ежели бы по совести с нашим братом поступали!⁶ По этапам едут на сменных лошадях, везде на ночлегах приют, пища и баня... Конокрадов и воров этаким-то манером предоставляют, а привезут на место, сейчас ему должны и земли порезать! Почему же мы-то должны христарadniчать? Ни крова, ни хлеба, ни приюта! Дрожишь по ночам голодный, с малыми ребятами, в поле...

Вина падает, конечно, на «чиновника».

Глядя на эту несчастную пятирублевку, дрожащую в мозолистых руках взволнованного кровной обидой крестьянина, поистине не можешь надивиться, что на такое важнейшее дело не находится почти никаких средств. Переселен-

⁶ Случай подобного рода рассказан ниже.

ческое движение, принимающее с каждым годом все большие и большие размеры, есть дело государственной важности; оно тихо и мирно разрешает тысячи всяких неправд, отравляющих жизнь крестьянина; оно оживляет и оплодотворяет пустыни, дает место, труд и жизнь переросту народонаселения. Дело это жизненное, государственное. Каким же образом на правильную, серьезную постановку этого дела нехватает средств в нашем-то «обширном отечестве»?⁷

⁷ Много потерпевший от затруднений переселенческого дела, г. Чарушин пришел к мысли о необходимости учреждения «переселенческого банка», который может превратить скитальчество, голодовку и попрошайничество Христовым именем в плодотворную и трудовую жизнь. Всех владельческих земель в Европейской России, из которых могут быть делаемы покупки при помощи крестьянского банка, г. Чарушин насчитывает до 90 миллионов десятин. В то же время в одной только Томской губернии насчитывается земли до 70 миллионов десятин, из которых 20 милл. могут считаться вполне свободными и вполне удобными для новоселов. Затратив в Европейской России сумму примерно в 150 тыс. рублей, крестьянский банк может устроить около 400 семей, тогда как на ту же сумму в пределах только Томской губернии, по расчету г. Чарушина, может быть устроено более 700. Уже из одного того, что учреждение переселенческого банка оказывается неизбежным для лица, близко знающего переселенческое дело, можно видеть и понять, что такое значит эта несчастная «пятирублевка», стремящаяся отделаться от широкого и важного общественного дела.

VIII. Поездка к новоселам

Помимо разочарования в помощи и поддержке немало терпит переселенец и от того «плутоватого» человека, который во всех тех торговых местах, – от села до губ<ернского> города, – где есть базар, ухитряется влачить свое существование исключительно надувательством простодушного крестьянина. Здесь, в Сибири, плутоватый человек, предки которого большею частию не могут похвастаться хорошими фамильными преданиями, пользуется неопытностью крестьян-переселенцев с гораздо большею развязностью, чем на наших российских базарах. Обо всех затруднениях, переживаемых переселенцем от «плутоватого», пришлось услышать от одного из самых, повидимому, деятельных радетелей по делу именно утеснения нашего пришлого крестьянина, который, как бы даже похваляясь, рассказал без всякого стеснения все свои плутни с переселенцами.

Ознакомившись с переселенческой станцией и побывав у г. Чарушина, по совету и указанию последнего, я и один мой приятель поехали посмотреть на житье-бытье новоселов, поселившихся в сорока верстах от г. Томска года два тому назад.

Взяли мы у «дружков» пару лошадей и тронулись в путь, и всю дорогу наш ямщик (оказавшийся из «плутоватых»), молодой, здоровенный парень, с каким-то ухарским удоволь-

ствием хвастался своими проделками относительно переселенцев.

Кстати здесь сказать: этот парень, при внимательном рассмотрении, оказался евреем, но чтобы узнать это, нужно было пробыть с ним очень долгое время, – сразу никак бы никто не догадался, что это еврей: ухарская развязность сибиряка, ленивая, чисто российская речь, все настоящие ямщицкие ухватки, все это было вполне неподходяще к тому, чтобы даже подозревать в нем что-либо не только еврейское, а хоть даже что-нибудь инородческое. Вообще надобно сказать, что евреев в Сибири множество, но все они обрусели почти до неузнаваемости. На всем протяжении пути от Томска через Омск на Тюмень самый богатый дом (иногда роскошный), самая богатая лавка непременно еврейские. Значительное число лиц, содержащих почтовые станции, евреи и еврейки. Обстановка их жилищ так отлично скопирована с жилища зажиточного сибиряка, что и в голову не придет сомнения относительно национальности обитателей этого жилья. Отсутствие в переднем углу образов довольно ловко заменяется другими аксессуарами жилья русского человека: портреты высоких особ, виды сражений и однообразные гравюры грубовато-немецкого юмористического содержания, словом, вся та живопись, которая выходит из одних и тех же коробов российских книгонош и коробейников. Взглянув на эту привычную для глаза живопись, проезжающий, сам дорисовывает воображением все, что должно быть в переднем

углу (где и цветы к тому же есть бумажные), и не сомневаясь делает крестное знамение, и только тогда, когда, напившись чаю, уходит из комнаты и, по сибирскому обыкновению, непременно должен нагнуться в низких дверях, замечает на притолоке двери какую-то стеклянную трубочку, точно тонкий термометр, а в трубочке видна бумажка с еврейскими буквами. Тогда только ему сразу становится понятным, что он находился в еврейском доме, и только тогда, начиная всматриваться в лица хозяев, он замечает в них что-то не совсем русское. Вот такой-то трудно разгадываемый тип обруселого еврея и был наш возница, но все, что он рассказывал нам по части надувательства переселенцев, к сожалению, не есть особенность исключительно еврейского умения нажать деньгу даже на бедняке и нищем, ибо, как известно, надувательство не чуждо и нашим соотечественникам.

– Говорят, что сибиряки недовольны переселенцами, что они сердятся на них, зачем сюда идут, отбирают землю? – спросил ямщика кто-то из нас двоих, ехавших в тележке.

– Может, которые и сердятся, – лениво отвечал ямщик, – а для нас, томичей, как переселенцы покажутся, точно солнце засияет! Мы их очень почитаем...

– За что?

Помолчал ямщик и с сибирской развязностью и ленью в тоне голоса сказал:

– Глупы они! Вот это нам и приятно!

Наглость таких мнений ямщика совершенно терялась в

той непринужденности его наглых мыслей, которые были в нем как бы врожденными.

– Будто уж они все такие дураки, как ты говоришь?

Ямщик улыбнулся, подумал и, обдумав свой ответ, пови-
димому, весьма тщательно, не спеша и с расстановкой каж-
дого слова ответил:

– Они дураки по нашему, по сибирскому мнению... А так
они, сами по себе – ничего! По-ихнему, по-российскому, они
даже и не дураки... И работают хорошо!

– Хорошо работают?

– Д-да! Уж что касается работы, нечего и говорить! Мы
так не умеем, да нам и не надо! Мы ленивые... Ну, а уж они
так действительно работники! Так вот, кажется, и издыхает
на работе. Мы к этому непривычны.

– А ведь вы, сибиряки, сильнее и крупней наших мужи-
ков?

– Мы действительно будем погромней их. А что насчет
силы, так, пожалуй, ваши-то лапотники и посильней нашего
брата.

– Будто! Вы такие верзилы?

– Верзилы мы точно что верзилы, а что развязны от лег-
кой жизни в суставах, это тоже верно! Пробовали наши с ва-
шими на базаре бороться, и все за вашими верх... Право!
Маленький, худенький, голодный, холодный, а как возьмет-
ся да изловчится, глядь, и опрокинул нашего верзилу. Нет,
по своей части они ничего, народ понятливый, ну, а уж по

сибирской ни аза не смыслят!

– Ну, например?

– Да и не знаю, каких и примеров-то вам представить, так они глупы... Идет мужик по дороге, подходит к нашему обозу и говорит: «Что, ребята, не видали ли моей лошади? Каряя?..» Ну не дурак ли, позвольте вас спросить? Мы идем обозом в двадцать, тридцать подвод, и то у нас от воров объездной караулит, постоянно ездит особый человек вокруг обоза, смотрит в оба, чтобы не срезали места, не отмахнули лошадь с оглоблями. А этот разиня полагает, что вор пойдет с его лошадю по дороге! Кажется, должен бы глупый человек понять, что ведь нашему брату-сибиряку есть где спрятать его кобылу...

Говоря эти слова, ямщик указал кнутом направо и налево, то есть обратил наше внимание на дремучий лес, окружавший дорогу с обеих сторон.

– Ежели он этого не понимает, так его окончательно на всякой малости можно провести. Я вот сбыл им пять кляч таких, что на живодерню не возьмут. А я взял с них вдвое против цены за настоящую лошадь.

– Да неужели же они не видят, что ты продаешь клячу?

– На его-то глаза она не кляча. Это мы знаем, что она такое. А ему она оказывается, как орел! Потому он не знает наших уловок... Она лошадь обозная и за телегой всегда пойдет, хоть даже и при издыхании. Вот и просишь приятеля ехать впереди в то самое время, как идет продажа. Приятель

едет как будто по своим делам; ваш мужик ничего не видит и не понимает; видит, что кляча бежит, – ему и любо. Купит, запряжет, а она ни с места. Ну, конечно, кое-как расхлещет, выедет за город, а там в поле и завоюет с нею...

Наглые речи эти становились совсем скверными, но надобно было выслушать «плутоватого» до конца, и потому никто из нас, слушавших ямщика, не выразил открыто своего негодования.

– Да и хорошую-то сибирскую лошадь ваш мужик даже кормить не умеет. У него и хорошая лошадь свалится с ног на двух сотнях верст, а мы кормим так, что она пройдет у нас три-четыре тысячи верст и не только не похудеет, а еще того лучше станет, раздобрееет, посильнееет втрое, станет втрое дороже.

– Как же вы это делаете?

Извозчик весьма подробно и тщательно объяснил нам способ кормления лошадей, практикуемый сибирскими извозчиками, перевозящими кладь на тысячи верст. Я боюсь, что не буду в состоянии подробно и точно передать этой оригинальной системы кормления, и заранее каюсь перед читателями, и в особенности перед читателями-сибиряками, в тех ошибках и неточностях, которые, я уверен, будут в моем пересказе. Сколько я понял, особенность кормления имеет конечную целью не истощить, а развить до высшей степени силы лошади. В этих видах лошадь, идущая в обозе, в первые дни выхода с места, где взята кладь, то есть в самое трудное

для нее время, обречена сибиряком почти на полную голодовку, вследствие чего и должна, как бы в отчаянии, напрячь все силы своего организма, чтобы преодолеть непомерные трудности пути. В минуту такого всестороннего напряжения сил, ей на второй или на третий день дают самое малое количество овса и полведра воды; на следующий день прибавляют к этой порции еще овса и еще немного воды, и так постепенно поддерживают ее в неослабеваемом нервном напряжении, причем порция корма ежедневно увеличивается, и, наконец, лошади предоставляется есть, сколько потребует ее возбужденная сила. Эту-то непомерно развитую силу и задерживают сибиряки в лошади системою постепенно увеличивающегося корма до тех пор, пока количество корма не будет вполне соответствовать количеству развитой в лошади силы. Прежде она делала свое тяжелое дело, так сказать, «нервами», сибиряк поймал момент их наивысшего развития и количеством корма удержал это развитие сил в лошади навсегда. Теперь она идет сильная, здоровая, тогда как в начале шла нервная, голодная.

Вот как я понял уловку кормления ямщиками сибирских обозных лошадей. Система, как видите, жестокая, но все-таки довольно остроумная.

– А ваши накормят ее, набьют ей брюхо сеном и едут. Ей и так тяжело, но она еще больше устает от своего брюха, а когда она, пройдя верст двадцать, устанет совершенно, ее пускают на траву. Не понимают, что с такой устали и аппети-

та-то у нее настоящего нет, она жует лениво, вяло... Ее валит ко сну, а они опять ее вялую запрягают. В этих делах они ничего не смыслят, это уж говорить нечего. Иная и хорошая лошадь, а измается с ними на второй сотне верст.

– Ну хорошо, – сказал я. – Этого они в самом деле не могут понимать; ну, а еще в чем они глупы?

– Да мало ли в чем? Он вот покупает телегу и не может рассмотреть, что *подосье* (железная пластина, вделанная во всю длину нижней части осей для крепости) не железное, а черемуховое, и покупает телегу, а она у него и ломается на пятой версте.

– Да почему же он дерева не может отличить от железа?

– Очень искусно подражаем под железо, не ему распознать этого дела. Мы делаем подосье из черемухи таким родом: выстругаем как железную пластину, обмажем сапожным варом и сушим в холодном месте. В жарком сушить нельзя, дерево вберет в себя сок и глянец. В холодном же месте оно засыхает с блеском. Да и вы бы сами, господа, не доглядели, дерево это или железо? Уж поверьте, умеем подражать бесподобно. Черемуху берем, мало впитывает соку. Ну вот, так и едет ваш неуч с деревянным подосьем. Конечно, потом опять вое!

Не знаю, осталась бы на этот раз или нет наглость нашего рассказчика без возражений, если бы приближавшийся поселок, привлечший к себе все наше внимание, не заставил совсем перестать слушать его разговоры, которые, к тому же,

с самого начала пути постоянно прерывались под впечатлениями окружающей природы.

Что могла значить вся эта хитрая, плутовская механика сравнительно с прелестью того уголка, в котором, наконец, удалось-таки поселиться нашему российскому переселенцу, измученному и истомленному земельными безобразиями дома, трудностью и продолжительностью дороги и всеми затруднениями бедности, недостатков и незнания чужой стороны? Проходимцы могут его надуть, ограбить даже, разорить и вообще ужаснейшим образом затруднить его жизнь, — но раз *бог привел* ему добиться или уже просто только *доползти* до источника всей его жизни, до целебного ключа всех его скорбей и болезней, до «земельки», он вновь оживет, вновь соберется с силами и умом, и даже памяти в нем не останется обо всех горестях пережитого, и тем менее о ничтожных надувательствах плутоватых людишек.

* * *

А вся та местность, по которой мы ехали к новоселам и среди которой они устроили свое поселение, была поистине прекрасна, даже роскошна. Подгородние около Томска места чрезвычайно красивы и живописны. Это какой-то бесконечный роскошный парк, раскинувшийся на холмистой местности, с просторными луговинами, заросшими густою и разноцветною травою, или желтеющий местами золотистым ко-

лосом пшеницы, ржи. Верстах в тридцати от Томска, кроме широкой линии дороги, пролегающей через этот парк, весь он изрезан проторенными, отлично укатанными проселками: это томичи проложили дороги к своим дачам, к заимкам, где живут в летнюю пору; на пространстве этих тридцати верст, и вправо и влево от большой дороги, в полночь и за полночь можно всегда встретить томичей, едущих на дачи или возвращающихся оттуда, из гостей. Все это пространство оживлено движением, а в пору нашей поездки было оживлено особенно, так как на лугах и на жнитве шла одновременная и горячая работа. Кстати здесь сказать: «поле» сибирского крестьянина не похоже на поле нашего русского земледельца; нет в нем этих разноцветных клеток на полях, квадратов, треугольников, зеленых и черных полос. Рожь и пшеница растут на луговинках, между несрубленными деревьями, там, где можно вспахать и засеять, не изнуря себя трудом. Пашни имеют поэтому самые прихотливо очерченные границы; а иногда тут же, в поле, среди колосьев овса или пшеницы, своеволие не стесняющегося в своих хозяйственных фантазиях сибиряка-крестьянина помещает засаженную картофелем гряду, что для «нашего» пахаря составляет уже прямое нарушение полевых порядков и обычаев; а своеволец-сибиряк давно уже сказал себе: «что хочу, то и делаю», и мудрит, как ему угодно. Но хоть все это хозяйство и говорит, что в поступках сибиряка нет старания хорошенько походить и понянчиться с пашней так же, как

нянчится с ней наш российский мужик, все-таки приволье, простор и вообще вся «благодать», окружающая вас, несказанно радуют за участь изможденного «курской культурой» крестьянина. «Слава богу!» – думаешь о нем, видя, что он уже копошится на этих покрытых хлебом или травой луговинках роскошного леса. Правда, он копошится здесь пока еще как поденщик, но хоть и в этом нищенском положении, а все-таки он уже здесь, уже добрался до места. Узнать нашего «курского» весьма легко: если вы видите на работе человека высокого роста, в картузе, красной рубахе, черных плисовых или розовых ситцевых штанах и кожаной обуви, это – сибиряк. Если же перед вами мелькает во ржи какой-то маленький человечек, всегда без шапки, всегда в домотканной рубахе и вообще весь одетый, обутый и обмотанный в продукты всякого рода растительности: лык, мочал, пеньки, – так это наш, «курский», то есть существо, для которого жизнь «не пимши, не емши» сделалась почти патриотической обязанностью. Как же не радоваться за этого «курского» пахаря, когда видишь его в этом роскошном лесу и на этом неистощенном поле, под этими чудными, могучими кедрами, пышными и нежными, как липа, и развесистыми, как дуб могучий?

Скоро перестал болтать и разговорчивый ямщик, чем доставил нам еще большее удовольствие. Скоро торная дорога кончилась, и мы очутились в лабиринте новых, только что проложенных дорог; это были дороги, проложенные новосе-

лами, пробиравшимися к новым, неведомым местам; они все еще заросли травой, и колеи их были некрепко наезжены. Путались они, очевидно, в этом лесу, много наследили, наколесили путей в разные стороны, и, подвигаясь по ним, надобно было пользоваться всяким случаем, чтоб расспросить у случайного прохожего или проезжего мужика, «как пробраться к новоселам?» Указания были всегда такие, что их надобно было твердо помнить:

– Будет тебе три дороги и по праву руку четвертая, и поезжай ты по средней: увидишь пень, и от этого пня поверни на леву руку, и т. д.

При всех усилиях общими силами запомнить все эти мельчайшие признаки верного пути, мы поминутно сбивались с дороги, так как на каждом шагу были и другие пни, и другие повороты, и еще новые, быть может, только сейчас проложенные колесами следы. Лес был густ, нетронут, девствен и молчалив. Рабочая суета большой дороги кончилась; пошли девственные, нетронутые места. Истратив на розыски поселка не один час времени, мы, наконец, были и обрадованы: между деревьями мелькнула на солнце новая, точно золотая, деревянная крыша, и лошади наши скоро добрались до загороди и до какого-то подобия ворот, а вместе с этим открылась перед нами и часть нового поселка.

IX. Поселок

Был пятый час летнего вечера. Большой овраг, начинавшийся по правую сторону от ворот загороди, был, очевидно, только что очищен от леса на самое незначительное пространство; неподалеку за этой расчисткой высокие, могучие деревья опять загромождали овраг по обеим сторонам и скрывали его дальнейшее направление. Войдя в загородь, мы осмотрелись, – не было нигде ни души. По другую сторону оврага, то есть по правую руку, на вершине холма стоял новенький, уютный домик, с цветами на окнах; он стоял один-одинехонек, еще и кой-как огороженный; но множество уже очищенных от коры жердей было прислонено к одной стороне его крыши. Ни единой живой человеческой души не было около него; не лаяла даже собака. По левую же руку от нас было, очевидно наскоро, выстроено несколько землянок; над землей возвышался сруб бревен в пять, не больше, с маленькими оконцами; сруб этот был покрыт дерном, положенным плоско, на накат из жердей, служивший потолком этих землянок. И здесь также не было видно живой души. Кроме этих построек, как раз против ворот загороди, шагах в пятидесяти от нее, стояла буквально «избушка на курьих ножках, на веретенных пятаках»; квадратная, без крыши и с неопиленными углами сруба, она имела всего одно оконце, притом рама была вставлена в него боком, чтобы было окно

подлинней, хоть и пониже. Но и тут был уже виден в окне цветочек в горшке. Вместо крыльца лежали камни, по которым обыватель мог «влезать» в свое жилище, а не входить, ибо этот квадратный домик своими четырьмя углами стоял на четырех довольно высоких столбах. Очевидно, со временем будет сделано, по сибирскому обычаю, подполье, но теперь его нет, и дом стоит на четырех «курьих ножках». На двери его висел замок, я кругом все было тихо. Курица, однако, уже бродила вокруг «избушки на курьих ножках».

Оглядывая местность, постукивая в окна пустых жилищ и окликая пустынное пространство, мы не получали никаких благоприятных результатов и были даже в некотором разочаровании: на поселке должно было быть поселено сто восьмьдесят семей; он существует уже три года. Неужели эти три полуземлянки, эта избушка на курьих ножках и этот хоть и хороший, но единственный жилой дом, неужели это все, что достигнуто переселенцами в течение трех лет?

Недоумение наше продолжалось, однако, недолго: близ ворот загороди показался крестьянин, также, очевидно, не сибиряк: рубаха и прочая снасть были домотканной работы, белые, холстинные, но не было в этом крестьянине чего-то и специально «курского». Рассмотрев его поближе, оказалось: борода выбрита, на голове картуз, а рубашка вправлена в штаны, все это *не наше*. У нашего и борода есть, и рубаха навывпуск, а шапки, по обыкновению, почти всегда нет, по крайней мере в работе. Познакомившись с этим крестьяни-

ном, мы с двух слов узнали, что он чистокровный поляк; что в избушке на курьих ножках живет томская мещанка, дети которой построились тут же, только в другом месте, и что в хорошем доме, на правой стороне оврага, живет «кержак»⁸. Этого короткого знакомства с поселком было уже достаточно для того, чтоб заинтересоваться его будущностью: коренные сибиряки, коренные кержаки и коренные поляки сошлись на одном поле, все одинаково начинают жить трудами рук своих на новых местах.

Но нам более всего хотелось видеть *наших* «мужиков», которых здесь было много. Поселенец-поляк взялся указать нам дорогу к русским, и мы пошли вслед за ним, а за нами поехал ямщик, тщательно и с любопытством всматривавшийся в окружающее и, видимо, заинтересованный им. Начало новой жизни в новых, девственных, чистых, как ключевая вода, впечатлениях окружающей природы осенило как бы каким-то светлым веянием и эту оплутевшую душу. Впоследствии это осияние оплутевшей души было как нельзя лучше доказано совершенно случайными обстоятельствами, о чем я своевременно и расскажу. Теперь же пойдем за нашим проводником.

Путь наш шел таким образом: спустившись в овраг, мы

⁸ *Кержак* – старообрядец, последователь вероучения одной из религиозных сект, отколовшихся от официальной православной церкви во второй половине XVII века. Название происходит от названия реки Керженец, левого притока Волги в б. Нижегородской губернии. Вблизи этой реки находился крупный центр старообрядчества.

стали с трудом подниматься на возвышенность, обставленную высокими деревьями, и здесь, на площадке, увидели несколько домов опять-таки польских поселенцев. С площадки опять стали спускаться в долину и в уголке ее опять заметили одинокий домик какой-то кержачихи, и опять «с горки на горку», пока наш путеводитель не распрощался с нами около своего, как у всех, неогороженного дома. Оказалось, что хотя путеводитель и разъяснил нам дальнейший путь, но исходным пунктом для дальнейшего следования принял свой собственный дом, который, к сожалению, отстоял от нашего русского поселения на весьма далеком расстоянии. Нам пришлось с полчаса колесить по задам русского поселка, пока мы, наконец, не слышали крика петуха, лая собаки, блеяния овцы и не почувствовали, что *наши* тут, где-то близко, а судя по «хоровому» началу, слышавшемуся в обилии куриных и овечьих звуков, не могли не ощущать радости при мысли о том, что наконец-то мы увидим жилое место, а не одинокие домики в лесу.

И скоро под горой, заросшей величественными деревьями, между которыми было уже много срубленных, очевидно на постройку, в просветах леса замелькали крыши, засверкали новыми стенами два-три десятка новых построек, и перед нами, наконец, открылась «улица», наша, российская, широкая. Она еще плохо и редко застроена, но уже и в том, что есть, – видно что житье пойдет здесь «на миру»: все будут жить на глазах у всех, все будут знать всех и всякому будет

про всякого известно все.

Вот именно эта-то разница в тоне и строе домашней и общественной жизни всех тех разнохарактерных типов переселенцев, которые волею судеб обречены были составить здесь, на чужой стороне, одно общество, эта разница и трудности, из нее вытекающие, и были предметом нашего разговора в первом из переселенческих дворов, где мы остановились пить чай.

* * *

Надобно сказать, что все выстроенные новоселами дома ясно свидетельствовали, что выстроились только люди состоятельные, переселенческая беднота пока еще гнездилась в амбарах и пристройках к этим богатым домам. Первый дом (где баба, за отсутствием мужиков, не приняла нас напиться чаю и указала на соседей), хоть и не был огорожен как следует, был, однако, очень просторный, уютный и на дворе имел флигелек, который отдавался в наем пришлым переселенцам; точно так же и следующие постройки говорили об известного размера состоятельности их хозяев. Особенно был типичен, в отношении обилия домашнего трудового разнообразия, тот дом, в котором мы остановились пить чай.

Здесь также не было хозяев, они были на работе. С кучею малых ребят, девчонок и мальчишек, оставлен был мальчик лет двенадцати; просьбу нашу о самоваре он тотчас же удо-

влетворил самым простым ответом:

– Идите, напою!

Покуда наш юный хозяин ставил самовар, мы пошли осмотреть двор. Он был не вполне устроен; для скотины не было еще помещения, за исключением кой-какого навеса, заброшенного сверху клочьями соломы. Но в то же время чего-чего не было уже проявлено здесь по части человеческого труда и мастерства, в промежуток времени не более как в два-три года!

Дом этот стоит на краю небольшого оврага, в низине которого была врыта кузница. Самая печь находится в помещении, вырытом под землей и защищенном сверху толстыми пластами дерна; около кузни станок дляковки лошадей, точило для кос и наковальня.

Поднявшись от кузни наверх и обойдя дом, мы сразу нашли две мастерских, токарную и тележную; делают колеса как городского фасона, так и для деревенских телег. И как вся эта механика умно придумана! Токарный станок устроен так: в левый угол маленькой каморки воткнут крепкий березовый сук, воткнут так, что тонкий его конец сильно напирает под потолок; к этому тонкому концу привязана веревка, которая, спускаясь вниз, плотно обвивается вокруг куска дерева, который надобно обточить на токарном станке, и, обвившись, падает ниже станка, где образует петлю. Вставив ногу в эту петлю, токарь пригибает веревку книзу, веревка плотно обтягивает предмет (вследствие того, что березовый

сук тянет ее кверху), и дерево поворачивается. Отпустив на мгновение ногу, токарь дает волю березе, которая вздергивает конец веревки к потолку и таким образом опять поворачивает дерево. Для более же быстрой работы над кусками дерева большого объема устроена в другом флигельке другая мастерская. Там устроено вращаемое руками колесо; перекинутая с него веревка обращает малый вращающийся винт, на котором навинчен кусок обтачиваемого дерева. При этом аппарате кусок обтачивается «кругом»; при том же, который описан выше, его можно обточить сначала только с одной стороны, а потом уже и с другой. Стан колес стоит в Томске рубль; приведенный же в окончательный вид, то есть превращенный в настоящее колесо со втулкой и спицами, он стоит от четырех до шести рублей. Много во всем этом самой хитрой механики, «выдумки», и если к этому мастерству прибавить всю многосложность земледельческого труда, то истине нельзя не позавидовать разнообразию и интересу той *трудовой жизни*, которая наполняет этот «*мужицкий*» дом.

Осматривая все эти «механики», мы познакомились с двумя крестьянами-вятичами, которые только что пришли в поселок и жили в описываемом доме на квартире. Они тоже были мастера «по этой же части», то есть по токарной и столярной, но один из них был, кроме всего, мельник; мельничное дело он знал до тонкости и задумывал устроить мельницу. Бабы этих вятичей были на работе; мужики работали в токарных мастерских, а дети бегали и играли с хозяйскими

детьми под начальством того двенадцатилетнего мальчика, который ставил нам самовар. Познакомившись, все мы сели на бревне, валявшемся на дворе, и мало-помалу к нам стали подходить кой-кто из поселенцев.

Пришел старый-престарый человек, переселившийся вместе с детьми, образовавшими уже две новые семьи. Он пришел сюда уже не для работы, а просто дожить век при своих детях, и будучи близостью конца жизни поставлен в необходимость быть только беспристрастным зрителем того, что творится перед его глазами, он нахвалиться не мог всем, что видел его потухавший взор.

— И в мыслях-то всю жизнь не было, чтобы этакую благодать господнюю увидеть! *И заспать не заспишь*, сколько я господа благодарен!

Трудно было понять глубину благодарности к богу, выраженную словами «заспать не заспишь». Но подумав и сообразив, что такое сон трудового человека, можно понять и размеры того душевного волнения, которое не дает этому утомленному человеку сомкнуть глаз. Известно, что наработавшийся мужик может спать таким «мертвым» сном, что о пожаре своей избы догадывается только тогда, когда огонь схватит его уже за бороду, за ноги и за рубашку. Каково же должно быть его волнение, возбужденное в нем благодарностью к богу, когда он, в ту минуту, когда бы ему следовало спать «мертвым» сном, не может сомкнуть глаз? Господь так неожиданно посетил его, наградил его таким счастьем, что в

трудо­вом че­ло­ве­ке ис­че­з­ла воз­мож­ность хо­ть на ми­ну­ту за­быть эту не­об­ык­но­вен­ную «ми­лость», и да­же сон, в ко­то­ром он мо­жет за­быть са­мо­го се­бя, и тот по­ки­нул его, ус­ту­пив ме­сто не­прерыв­но­му ощу­ще­нию бла­го­го­ве­ния пе­ред не­об­ык­но­вен­ным ми­ло­сер­ди­ем.

Все здесь ка­жет­ся это­му ста­ри­ку удивитель­но пре­крас­ным, и мы­сль его не толь­ко не в си­лах най­ти во всем ви­ди­мом ка­ко­го-ни­будь не­до­стат­ка, но, оче­вид­но, не в си­лах вос­при­нять и то­го, что в ви­ди­мом так не­ожидан­но хо­ро­шо. Что ка­са­ет­ся до мо­ло­до­го по­ко­ле­ния му­жи­ков, так или ина­че от­ве­дав­ших уже не крепост­ной жи­зни и име­вших со­при­косно­ве­ние со шко­лой и кни­гой (все это, да зна­ет чи­та­тель, да­леко не бес­след­но от­ра­зи­лось уже на по­ко­ле­нии «ос­во­бо­ж­ден­но­го» на­ро­да), то они хо­тя и ве­се­лы и ра­ды, что по­па­ли дей­стви­тель­но в хо­ро­шие ме­ста, луч­ше ко­то­рых и в са­мом де­ле ни­че­го не на­до, но кое-что уже кри­ти­ку­ют, хо­тят сде­лать по­удоб­нее, на свой об­ра­зец, и уже же­ла­ют кой о чем «хо­да­тай­ство­вать». Так, ока­зы­ва­ет­ся, что не­воз­мож­ность со­вмес­тно­го со­жи­тель­ства ве­ли­ко­рос­сов, кер­жа­ков и по­ля­ков со­став­ля­ет од­ну из глав­ней­ших за­бот всех трех раз­лич­ных ти­пов лю­дей, жи­вущих тру­да­ми руд сво­их.

– Ежели бы мы, рос­сий­ские-то, от­дель­но от них жи­ли, у нас бы все де­ла в пол­ча­са ре­ша­лись. За­го­родь, плотина, да что угод­но, все бы од­ним ду­хом: соб­ра­лись, по­ре­ши­ли, рас­сор­то­ва­ли на­род по оче­ре­дям, ан де­ло-то и го­то­во! А тут как при­дут по­ля­ки да кер­жа­ки, да вся­кий тя­нет на сво­ю сто­ро­ну,

как ему лучше да приятней, так бывает, по шести ден галдим, а все толку нет!

– Да кержакам и полякам тоже неохота по нашему-то вкусу жить!

– Кому охота!

И, вероятно, никакого «толку» действительно и не будет, так как самого поверхностного внимания к каждому из этих *крестьянских* типов вполне достаточно для того, чтобы чувствовать их огромную нравственную друг от друга отчужденность.

Все они *одинаково* пашут, косят, сеют, возят навоз, но все они уже совсем неодинаковы прежде всего по внешнему виду; *наш* – босиком, без шапки, плохо вымыт, плохо чесан; двенадцатилетний сын *нашего* не всегда замечает, что ему давно бы пора утереть свой нос и вымыть по крайней мере хоть одну щеку, если не все лицо, еще «со вчерашнего» сохраняющее следы падения с лошади в грязь; и тот же двенадцатилетний мальчик-поляк, такой же крестьянин, и одет чисто, и острижен, и шапка на нем такая, как у всех, городских людей. В пиджачке, высоких сапогах он делает крестьянское дело и как-то так обходится с собой, что ему не надо говорить: «и когда ты нос-то утрешь?» Такой же самый крестьянский мальчик-кержак, не похожий ни на полячка, одетого почти по-городски, ни на мужика, почти совершенно раздетого, носит на себе также своеобразный отпечаток: он одет в хороший, крепкий, чистый русский костюм, и во-

обще внешность его чрезвычайно опрятна и благообразна. То же разнообразие и во внешнем виде взрослых поляков и кержаков, и в особенности женщин и девушек. Когда мы приблизились к дому поляка (который указывал *нам* ту дорожку, какая для *него* была ближе), к нему, одетому в одну рубашку и порты работнику, выбежали навстречу две девочки, десяти и двенадцати лет, одетые чрезвычайно опрятно, причесанные по-городски, обутые в крепкие, хотя и грубые, башмаки; они работали в огороде и, следовательно, делали то же крестьянское дело, как и наши *девчонки*; но вот девушки такого же возраста у *«наших»* действительно уже не девушки, а *девчонки*: в одних рубахах, с растрепанной косичкой, босиком и с грязными ногами. Через три-четыре года они будут уже женами, и их дети будут ходить так же босиком, с раздутыми животами, как и сами они. Опрятность и чистота кержацких женщин также ни в какой мере несравнима с нашими, но зато нет у них и веселья, песен, «горелок». Деньги, как подспорье к земледельческому труду, всегда имеющиеся, как известно, в некотором количестве как у раскольников, так и у поляков (которые идут не иначе, как продав свой лоскутик земли на родине за хорошую цену), конечно, имеют большое значение во внешнем благообразии жизни, но кто же не видал мужиков прямо *богачей*, семьи которых однакоже погрязают в неопрятности, не хуже самых бедных крестьянских семей, где человек, именуемый *«саврасом»*, вовсе не редкость, и где внимание к собственному

носу савраса пробуждается в последнем не иначе, как вследствие хорошего «леща», данного родителем без церемонии и даже при гостях.

* * *

Причина разнообразия во внешнем и внутреннем образе жизни людей, живущих совершенно в одинаковых условиях земледельческого труда, заключается именно в нравственном содержании жизни каждой отдельной *личности* этих групп. Разницу в содержании и качестве личной жизни нашего крестьянина и крестьянина-кержака можно очень ясно видеть из наблюдения, сделанного покойным Кельсиевым⁹ при изучении им раскола. Однажды ему пришлось поздней ночью заехать в такую деревню, в которой (он заранее знал это), кроме православных крестьян, живут еще какие-то инородцы, до сего дня сохранившие еще многие языческие обычаи и неряшливую простоту образа жизни полудикого народа. Желая ночевать непременно в доме православного крестьянина, он въехал в деревню, остановился у первого дома,

⁹ *Кельсиев*, Вас. Ив. (1835–1872) – литератор, эмигрант. Сотрудник Герцена и Огарева по изданию «Колокола» и приложения к нему «Общее вече». Отличался интересом к вопросам раскола, видя в этом религиозном движении прежде всего политическую основу. Издал в Лондоне «Сборник правительственных сведений о раскольниках» (1861–1862), «Собрание постановлений по части раскола» (1863) и др. В 1867 году вернулся в *Россию*, был прощен правительством и сотрудничал в реакционной печати («Русский вестник», «Заря» и др.).

постучал в окно, и, когда в нем показался человек, Кельсиев спросил его:

– Что, скажи пожалуйста, здесь *христиане* живут?

– Нет, батюшка! – с какою-то жалобною нотой в голосе отвечал ему мужичок, – *мы церковные!* Нам *этого* некогда! Над нами барщина!..

Этот крестьянин как нельзя лучше характеризует свое слабое соприкосновение с делом веры. Ему недосуг быть настоящим христианином; на нем лежит такая масса физического труда, что ему в пору только по большим праздникам побывать в церкви, поставить свечку, причаститься, повенчаться, окрестить ребенка, похоронить мертвого, и вообще за трудовым недосугом он едва-едва в состоянии исполнить только церковный обряд. Сравните теперь эти размеры духовной жизни, едва возможные для человека, поглощенного трудом, с размерами личной духовной жизни кержака. Для него труд в поле, труд в обозе, в лавке только средства для жизни *в доме*, для удовлетворения потребностей, требуемых его нравственными *убеждениями*. Мало того, что образец своей личной жизни он берет из книжных указаний, в которые, несомненно, верует твердо, но и всякую малость домашнего личного обихода (вплоть до употребления в пищу того или иного животного) исполняет также всегда «по закону», или по крайней мере всякую малость стремится исполнить непременно по закону. И чтобы не кривить душой в своих убеждениях, он всеми мерами старается огра-

дить их от всякого на них посягательства таких порядков жизни, которые он считает решительно враждебными святыне его души. Кроме идеала личной жизни, он лично живет еще и борьбою с врагами этого идеала, изобретает средства уйти, схорониться от этого врага и, следовательно, кроме личной жизни, согласно только личным убеждениям, живет еще критикой несогласных с его идеалами порядков. «Антихрист» олицетворяет для него всю враждебную его совести летопись фактов, накопленных в осуждение неправильной жизни его предками в течение целых столетий, и весьма точно очерчивает малейшие попытки внешних влияний помрачить его жизнь, совратить с праведного пути и погубить.

Человеку, в котором личность и личная жизнь *не главное*, а еще пока второстепенное дело, не на чем сойтись с человеком, для которого *главное-то* и заключается в личной жизни, по убеждению, по указанию *своей* мысли. Связь на купле и продаже может быть между кержаком и церковным, это связь товара и рубля; но общей жизненной, духовной связи и между ними быть не может: кержак сердито смотрит на церковного, а церковный не любит и не понимает сердитых вообще, а тем более «сердитых христиан». Если же ничего общего между собою не найдут такие, повидимому друг к другу близкие, люди, как раскольник и православный, то оба они не найдут ни малейшей нравственной связи с поляком, как и поляк с ними.

Личная жизнь поляка обильна семейным, биографиче-

ским материалом ничуть не менее, чем личная жизнь кержака.

В этом сундуке, приехавшем в Сибирь чуть не с австрийской границы, хранятся такие семейные «реликвии», о которых нельзя забыть всю жизнь и которые дают *фамильную семейную особенность* почти каждой польской семье всякого звания и состояния, по тем или другим причинам поселившимся в Сибири. Этих реликвий совершенно достаточно, чтобы около них сосредоточивался центр главнейших личных интересов, исходный пункт взглядов на все отношения к окружающей среде. Оборона убеждений, о которой свидетельствуют семейные реликвии, не похожа на оборону убеждений кержака, который прятался в делях от врагов, а частенько и деньгами откупался. Не могу сказать, так ли сильна и в польской крестьянской семье критика общего строя жизни, как сильна она в кержаке, в его тонком изучении всех примет антихристового пришествия и всех хитроумных антихристовых проделок; но что предания семейные, фамильные, составляют в польской семье центр жизни и весьма достаточны для того, чтобы личная жизнь польской семьи и польского дома была полна ими, в этом, кажется, не может быть никакого сомнения.

Таким образом, вся личная жизнь, все личные интересы, общественные и исторические идеалы у всех этих, повидимому одинаково трудящихся, людей совершенно разнообразны и решительно недоступны пониманию ими друг дру-

га. Кержаку решительно невозможно иметь с поляком какие бы то ни было нравственно одинаковые стремления и цели, точно так же как и поляку семейные предания не дают даже и нити к какому-нибудь нравственному товариществу с кержаком, с церковником, государственным, так сказать, человеком. И я не сомневаюсь, что *опыты* слить в одну сельскую общину такие неподходящие элементы, – кержака, церковного и поляка, не приведут ни к каким благоприятным результатам. Сколько я знаю, и сейчас уж идут ходатайства о том, чтобы начальство расцепило, так сказать, этот подневольный союз совершенно не подходящих друг к другу людей и порядков их жизни.

Русские, которым отведены места в другой колонии, почти сплошь населяющейся поляками, ходатайствуют о перемещении их к «своим»; кержаки ходатайствуют о том, чтобы к ним причислили побольше «ихних людей», а поляки, конечно, жаждут быть также в своей среде. Если же «опыт» слияния не подходящих друг к другу элементов удастся хотя бы и в слабой степени, то дело это будет воистину необычайным.

* * *

Во все время нашего пребывания в поселке «плутоватый» человек неотступно следовал за нами; все, что видели и на что смотрели мы, видел и он; все, о чем мы говорили, он слы-

шал, и слушал все с особенной внимательностью. Его развязная, базарная разговорчивость совершенно его покинула; среди босых мужиков, он, по-городски одетый ухарь, при молк и вообще, очевидно, стеснялся и конфузился. Пробовал было он иногда вставить в разговор какое-нибудь развязное словцо, но оно всегда было совершенно никем не только не понято, но даже и внимания ничьего не обращало.

Весь обратный путь он упорно молчал и, очевидно, о чем-то крепко думал. По приезде в Томск я его уже не видал, но случайно очень обстоятельно узнал о том, что поездка к новоселам произвела на него самое образумливающее впечатление.

Простившись за рекою Томью с моими милыми томскими знакомыми, я выехал «на дружках» дальним конным путем в Россию. Возницею моим был тощий, согбенный, истощенный старичок, в рваной шляпе городского фасона, торчавшей на затылке. С полпути между Томском и первой станцией старец этот вступил со мной в разговор.

– Это мой сын возил вас тогда к новоселам! – Старец обернулся ко мне, и я тотчас же узнал в нем самого кровного еврея.

– Как уж он хвалил! – продолжал старец. – И жена моя давно-давно уже просила меня бросить наши занятия, уйти жить в деревню... А сын мой, наглядевшись на жизнь новоселов, так ее расстроил, что она захворала... Плачет теперь. Отдохнуть хочет в крестьянской жизни. Измаялись и изму-

чилились мы с ней, а ребята все исплутывались.

С большой скорбью рассказал он всю свою жизнь. В молодости он хотел принять православие, но отец, заметив это, немедленно поспешил его женить на дочери своего компаньона по какому-то предприятию, кажется винокуренному заводу.

– Мне было лишь семнадцать лет, как он меня запер в тюрьму.

– В какую тюрьму? за что?

– То есть просто сказать – женил. Дети у меня пошли каждый год. Мне вот теперь едва сорок лет, а я измучен заботами как восьмидесятилетний старик!

Режущие душу впечатления производили эти сообщения еврея о своей семейной жизни. Было до глубины души омерзительно, что он и теперь, на старости лет, отзывался о жене как о тюрьме.

Но он, повидимому, не сомневался в преимуществе своего страдания и продолжал.

Скоро после женитьбы отец его разорился, проиграл какое-то дело, вышел из компании и тяжело заболел, и женатый сын, уже обремененный своею семьей, должен был кормить его всякими средствами до самой смерти. В то же время его компаньон сошелся с другим сотрудником и процветал; и в то время, когда жена его превращалась в поденщицу, в мужичку, и растила ребят своих для всяких мужичьих промыслов, извоза, разносной торговли, ее сестры, одна за другой,

шли совсем иной дорогой: в родне матери плутоватых ямщиков оказались профессора, инженеры, доктора, что, конечно, отдалило всех счастливых родственников от плутоватых родственников-ямщиков на неизмеримое расстояние.

– Плачет, плачет моя жена! Хотя умереть просит в деревне, на воздухе, в честном труде... Что делать? Я и сам знаю, что это хорошо!

До конца пути он печалился о своей жизни, о своей загубленной жене (и все-таки загубившей его), о своих исплутовавшихся детях и не мог забыть насилия, сделанного над ним в ранней юности его родным отцом. Деревня, крестьянский труд казались ему истинным и единственным спасением и облегчением от всех его и всей его семьи унижений и страданий.

– А что, если я осмелюсь, пойду к «чиновнику», попрошу его?

– Пойдите, быть может и в самом деле он поможет вам.

– Но ведь я еврей? Ведь «жид»! Меня истеребят мужики!

– Мужики не тронут доброго человека, но не знаю, дают ли евреям землю.

– Все-таки я попробую... Хотя месяц пусть отдохнет на свежем воздухе моя больная жена.

Не знаю, что предпринял этот бедный еврей, но знаю, что такой необыкновенный, образумливающий плутоватого человека переворот во взглядах на успех в жизни, какой произошел с ямщиком, сделали светлые впечатления недостро-

енного поселка.

Х. Хорошего понемножку

Приводя в некоторый порядок как личные впечатления, вынесенные из непосредственных наблюдений переселенческого дела, так и мнения людей, близко к нему стоящих, и, наконец, припоминая по возможности все, что можно было почерпнуть относительно этого дела из сведений, сообщаемых сибирскою печатью, в конце концов опять-таки приходится сказать, что в переселенческом деле хорошо только то, что делается главным образом в Тюмени и частию в Томске.

Не знаю, кого из заведующих переселенческими станциями должны благодарить переселенцы прежде всего за прекращение канцелярской волокиты по их перечислению из великороссийских волостей в сибирские. Я уверен, что оба они одинаково участвовали в этом прекрасном деле и одинаково ходатайствовали перед высшим начальством о сокращении переписки с волостными правлениями и прочими захолустными властями; в настоящее время всякий бедный человек, явившийся в Сибирь, но непременно только на одну из упомянутых станций, не будет истощен ожиданием каких-то бумаг, не будет отправлен по этапу, словом, не будет жертвою педантических капризов «бумаги», но, по возможности, получит все, что ему надо, то есть главным образом, будет знать, что в известном месте для него, бедняка, отведен клочок земли.

Не знаю также, кому принадлежит почин в ходатайстве о сложении с переселенцев арендной платы министерству государственных имуществ. До назначения гг. Архипова и Чарушина переселенцы платили аренду за казенную землю, на которой они селились (по 18 к. за десятину), и, как причисленные к какому-нибудь сельскому местному обществу, платили наравне с ним и все лежащие на членах повинности. Теперь они платят только казенные повинности, а арендной платы не вносят. Я знаю, что об этом долго, много и настойчиво хлопотали оба лица, заведующие переселенческим делом, и хлопоты их оказались успешны. Затем, все что требует, помимо надела земель, переселенческая нужда, невзгода, непредвиденные на чужой стороне случайности, все это по возможности удовлетворялось, было предметом самого тщательного внимания этих лиц, и все это опять-таки заслуживает самой полной и всеобщей благодарности.

Но если вы представите себе, что Тюмень и Томск суть единственные светлые точки на всем огромном протяжении огромных пространств, которые переходит переселенец, то вы увидите, как мало всего этого для того, чтобы переселенческое дело стало действительно делом, и какая масса хлопот лежит на плечах лиц, которые этим делом заведуют. В Тюмени г. Архипову помогает, кроме имеющихся у него средств от казны, частное общество, но общество это может располагать очень и очень скромными средствами¹⁰. Про-

¹⁰ В отчете этого общества с 1-го ноября 1885 г. по 1-е ноября 1886 г. показано,

шлую зиму в Салтаминской деревне, близ Тюкалинска (Тобольской губ.), *девяносто* семей переселенцев находились в самом бедственном положении. Приехав туда осенью, они жили в землянках, даже лаптей не имели, и от продолжительного голода *так ослабели, что не могли даже просить милостыни*¹¹. Г. Архипов помог им; но мог ли он сделать это как следует для девяноста семей, в которых народу должно быть около четырехсот человек? Средства, которыми он располагает, до крайности незначительны; а ведь таких случаев *ослабления* наверное бывает не один в течение зимы. Говорю «наверное» потому, что известия о подробностях жизни переселенцев доходят до общества только случайно, – найдется добрый человек и напишет корреспонденцию. А не найдись человека, умеющего держать в руках перо, бедные голодающие не найдут возможности даже и заявить о своем положении. Уже одно то, что они поселяются на новых, *нежитых* местах, ставит их в положение слишком одинокое и

что, дав приют и помощь 5712 чел. (в том числе 296 детей), оно могло израсходовать из своих средств (2012 р. 63 коп.) всего 1180 р. 22 к. (28 больных были приняты в больницу, а 302 человека получили лекарства). Кроме этой крошечной суммы на такую кучу народа, обществом было роздано пожертвований: 400 книжек издания комиссии народных чтений, 10 пудов муки, 6 1/2 ф. чаю, 7 ф. сахара, 107 аршин ситцу и 12 арш. кумачу. *Новые сведения*: В 87 г. поступило пожертвований 2005 р., израсход. 1488 р. В 88 г., по 1-е ноября 89 г., было в приходе до 3819 р., израсход. 3418 р. В 87 г. прошло через Тюмень 13 910 душ, в 88 г. – 22 436 душ, израсходовавших от места выхода до Тюмени 256 914 руб. соб. денег (Отчет Тюме<енского> б<лаготворительного> к<омитета>.

¹¹ «Сиб<ирская> газ<ета>».

зброшенное.

В Томске, где не было общественной помощи, дело было еще труднее. Около 26-го июля 88 года, на берегу Томи, «начиная от полицейской будки, что у моста, вплоть до пристаней, то есть на расстоянии не менее полутора верст, разместились целым рядом переселенческие таборы. Народу скопилось до трех тысяч человек, а на этой же неделе ожидается еще две тысячи человек. 22-го июня, после 15 суток пути (от Тюмени, то есть вдвое дольше, чем ходят пароходы Игнатова), прибыл в Томск пароход Функе «Барнаул» с двумя баржами, наполненными переселенцами. На одной из них оказалось около четырехсот человек, и в числе их четыре трупа умерших в пути. На другой день прибытия умер еще один переселенец. Между детьми свирепствует корь и оспа. На другой барже, оставленной г. Функе *пока* на Оби, при устье Томи, следует в Барнаул до ста человек, и между ними, по словам переселенцев, которые ехали с ними, – *уже двенадцать трупов*»¹². Вот один только переселенческий день нынешнего года. Три с половиной тысячи человек, несомненно в большинстве крайне нуждающихся во многом, шестнадцать трупов, которых надобно похоронить, и множество больных детей, которых надобно было лечить. Все это такие дела, от которых невозможно отделаться перепиской, бумагой, формальным вниманием, а надобно в самом деле эти дела сделать, для чего необходимы средства.

¹² «Сибирская» газ<ета> <18>88, № 48.

Средства г. Чарушина можно видеть из отчета за 1887 год, напечатанного им в «Томских губернских ведомостях».

«Всех переселенцев за лето 1887 г. прошло 5474, да *обратных* 127 душ обоего пола. Больных из них было 433 чел. (пищевар<ительные> орган<ы> – 122). Из них *приютом*, то есть станцией, воспользовалось 668 *семей*¹³, лечением – 433, отпуском готового стола, выдачею хлеба – 103 семьи, предоставлением работы – 27, *денежным пособием* – 339. Приют в бараках «*по стоимости остановок на постоянных дворах*» исчислен г. Чарушиным в 1600 р.; медикаменты и плата в городскую больницу – 63 р. 19 к., отпуск пищевого довольствия – 20 р., заработной платы за постройку барачных помещений – 88 р. 68 к., безвозвратных пособий 331 р.; заимообразных пособий – 3970 р.».

Итак, на 5601 человека можно было оказать *всякого рода помощи* лишь на 6080 р. 87 к., то есть обрадовать его на всю предбудущую жизнь лишь одним только рублем серебра с гривенниками. Вы видите, как это мало и как затруднительно положение человека, поставленного в положение раздавателя «милостыни», не говоря о ничтожности этой помощи для самих переселенцев, которые тратят на одну дорогу не десятки, а сотни рублей, выработанных потом и кровью. Но размеры пособия примут решительно комический смысл, если мы, рассмотрев вышеприведенные цифры денежной по-

¹³ Здесь счет идет уж *на семьи*, а не на единицы обоего пола.

мощи, выкинем из них те деньги, которые, во-первых, должны быть обратно возвращены в переселенческую контору, то есть 3970 р., и, во-вторых, те 1600 р., которые только *живописуют* размеры помощи, денег же никаких не означают и изображают только то, что благодаря бараку осталось в карманах переселенцев, – *стоимость остановок на постоялом дворе*, то в конце концов и окажется, что размеры реальной помощи, по всем отраслям и «таблицам» всяких недугов, скорбей, болезней, не превышают суммы – *одного гривенника на человека*; на 5601 человека приходится подлинного милосердия всего на 510 руб., то есть даже меньше, чем на гривенник. А ведь между этими нуждающимися в пособии переселенцами бывают и такие, что *от слабости не могут даже милостыню собирать*.

XI. Обратные

Но, несмотря на всю важность дела оживотворения необозримых, веками впусе лежавших русских земель, старая канцелярская суматоха, старая бумажная суета сует еще не утратила в этом серьезнейшем деле своего тлетворного влияния и значения. Сведения о переселенческом движении, которые мы можем получить в Тюмени и в Томске у заведующих станциями лиц, совершенно не дают нам ни малейшего понятия даже и о размерах этого движения вообще, и вот именно в этом-то, никем и нигде не выясненном, движении переселенческое дело попадает большею частью в канцелярские руки и запутывается до невозможности. Массы народа идут в Сибирь, очень часто минуя Томск и Тюмень, и, таким образом, ускользают от расследования своего положения и по крайней мере счета. Идут не только в Тобольскую и Томскую губернии или на Амур, а и в Акмолинскую область, пробираются и к Семипалатинску, идут южными дорогами Южного Урала. В 1887 году в одной Тобольской губернии, кроме Тюмени, прошло – через Курганский округ – 1881 человек, через южные волости Тюменского округа 88 ч., через Ялуторовск 1015 чел. Курган и Ялуторовск – города, то есть места, где есть грамотные люди и есть начальство, обязанное вести счет прибылому народу; но массы этого народа тянутся и более глухими путями, где не найдешь ни пера, ни каран-

даша. Читая случайные корреспонденции сибирских газет, вы постоянно встречаете известия о каких-то толпах переселенцев, которые идут куда-то или откуда-то возвращаются и которые никоим образом не могли быть ни в Тюмени, ни в Томске, так как оттуда они непременно были бы определены к месту и притом (в последнее время) могли бы выбрать и место поселения лично, в присутствии землемера.

Переселение, кроме того, не ограничивается передвижением масс из Европейской России, оно идет и в самой Сибири. «С прибытием переселенцев из России жители Томской губ. *сами уходят* на восток, – читаем мы в № 43 «Сиб<ирской> газеты». – 4-го июня через город прошло 19 семей, на 52 подводах, запряженных в одну, две и даже три лошади; кроме того к редкой из подвод не было привязано по паре или по тройке лошадей. Все они, очевидно, очень состоятельные люди и ушли, по их словам, *от тесноты*, вследствие ежегодного прилива новоселов. Это известие, бросая на тесноту Томской губ., имеющей семьдесят миллионов десятин земли, какие-то таинственные, загадочные тени, еще более осложняет возможность выяснить себе вообще основания переселенческого движения.

Относительно положения *обратных*, которые двигаются назад также неизвестными путями и также в значительном количестве, во всей тщательно веденной «Сибирскую газетой» хронике «переселенческого движения» мы находим за весь год только одно известие, в № 54 (от 17-го июля). Обратное

движение переселенцев за время от 21-го по 30-е июня было из Енисейской губернии (в то же время из Томской и Тобольской идет движение в Енисейскую): оттуда ушло тридцать семь семей (двести восемнадцать человек), не прожив на местах своей оседлости и трех лет. Причина нового передвижения – недостаток средств на обустройство и неполучение приемных приговоров. Хроника переселенческого движения велась газетой самым тщательным образом; в ней всегда записано, что только можно записать, но не подлежит сомнению, что в ней многое множество всякого рода явлений, сопряженных с этим делом, просто-таки не могло быть записано, и именно потому, что не было *случая* напасть на тот или другой случайный факт; иначе хроника не ограничилась бы сообщением одного только этого факта в течение одного года. В доказательство того, что обратное движение дело весьма немалое, могут служить целых *три* корреспонденции из какого-то неведомого сельца *Ужура* (Ачинского округа), где, очевидно, *случай* дал возможность какому-то доброму человеку обратить внимание на беспрестанно повторявшийся факт возвращения переселенцев обратно. Что же такое этот *Ужур*? Искал я его на довольно подробной карте издания Ильина и не нашел. Во всяком случае это село, где нашлся только «случаем» корреспондент, внимательное к народу постороннее лицо, и вот благодаря только этой случайности мы имеем *только* из этого захолустья, из этой мышинной норки, даже неприметной на огромных пространствах

сибирских пустырей, целых три корреспонденции, дающих возможность заключить, что обратное движение вовсе дело не маленькое.

В корреспонденции от 7-го февраля мы читаем:

«Случаи выселения новоселов из Минусинского округа обратно в Россию за последнее время стали очень часты и способны принять характер хронического явления. 27-го января через наше село проехало обратно, на 7 собственных подводах, 6 семейств выходцев из Пермской губ. Екатеринбургского уезда. Некоторые из них прожили в Минусинском округе 5 лет, другие всего год. Здесь им *пришлось* (почему – *не удалось* узнать) взять *в аренду* землю и другие угодья, принадлежащие *какой-то* вдове казачке. Первые года два арендная плата была 1 р. за десятину, а с течением времени *владелица* постепенно возвысила ее до 5 р. Таким образом, при существующих ценах на землю в Минусинском округе, где за 1 р. казаки продают десятину земли в полную собственность, арендная плата представлялась уж слишком дорогой. К числу причин, вместе с высокой платой за аренду, имевших влияние на их решение переселиться, они относят: 1) неопределенность своего положения; 2) трудность освоиться с условиями таежной жизни и 3) близкое соседство несимпатичных им переселенцев раскольников».

В корреспонденции от 19-го марта рассказывается, что

18-го марта в с. Ужур вступило шесть подвод с шестью семьями, всего около двадцати пяти душ. Семьи эти, отправившиеся без предварительной отправки ходоков к своим полтавским землякам, уже поселившимся в Березовской волости, пришли туда слишком поздно.

«Когда прибыли они на место, перед Петровым днем прошлого года, то волость не могла уже предоставить в их распоряжение ни одной пяди свободной земли; земля, в виду предполагавшегося размежевания, была уже распределена между наличным составом населения. Вновь прибывшие остались за штатом. «Хорошо еще, – говорили переселенцы, – что была летняя пора, везде надобились работники; ну, взялись за работу: косили, жали – тем и перебивались. Что заработали в лето, то проели зимой. Теперь вот идем в Колыванский округ, Томской губернии. Знакомый мужичок сказывал, что там за деревней Кочки много еще есть свободных земель... Ну, а там, – что будя: худо ли, хорошо ли, все едино останемся, – дале идти *некуда!* Ко двору воротиться не к чему: домишки и скот распродали, а землю сдали в общество... А все *виноват солдат* (который поселился там раньше их). Пишет: «выезжайте, здесь рай, а не жись, – какую избу купил за 30 р., да пара коней, с телегой в придачу, на железном ходу, стоила мне всего 30 р.!» говорит. А как поглядели мы это, так все наврал: его тридцатирублевая изба не лучше избы нашего цыгана-кузнеца, а телега вовсе не те-

лега, а просто дровни, да еще на деревянном ходу. Мы это и говорим ему: «ведь ты, братец, разорил нас!» – «Разорил и есть! отвечает, да я и сам, братцы, разорился!..»

Наконец, в третьей корреспонденции, от 5-го июня, рассказывается плачевная история двадцати восьми семейств, два года назад переселившихся из Пензенской губернии и поселившихся на землях некоей знаменитой тайной советницы Безкоровайной, в так называемой Ирбинской даче. Как об этой владетельнице, так и о даче мы скажем ниже более подробно, как о деле в высшей степени важном для ознакомления с *подлинными* сибирскими порядками. Теперь же достаточно будет сообщить, что Ирбинская дача, давно уже отчисленная в казну и все-таки находящаяся в полном владении наследников тайной советницы, не дала возможности переселенцам прочно и с уверенностью утвердиться на арендованной ими земле. Арендная плата была подходящая для них: 1 р. в год за десятину; за копну сена 3 к., за строевое дерево 10 к., за сажень дров 60 к. «Все ничего бы, – говорили переселенцы, – да прошел стух, что Ирбинская дача должна отойти в казну, и что нас выселят. Стали мы хлопотать через своего адвоката, чтобы оставили нас на старых местах, если дача отойдет в казну, но дело наше не выгорело. После этого мы и порешили уйти добровольно, чем ждать, пока выселят нас». И вот двадцать восемь семей пошли вразброд: шесть семей, которых видел корреспондент,

шли на томский переселенческий пункт, надеясь на помощь г. Чарушина; десять семейств *застряли* где-то под Абаканском, по случаю разлива Енисея, не решаясь поступить так, как поступили шесть семей, которые, вопреки запрещению, подкупили паромщиков и перебрались с опасностью жизни на другой берег, за что и были, во-первых, высечены по пятнадцати ударов, а во-вторых, оштрафованы по пятнадцати рублей. Застрявшим переселенцам придется ждать переправы полторы недели. Что касается остальных двенадцати семей, то о них корреспондент говорит так: «Остальные двенадцать *рассеялись* по Минусинскому округу». Во время следования этих *обратных* попался им на дороге пермский переселенец, одинокий, без всяких бумаг, но с семьей ребятишками; шел он с самыми светлыми надеждами, но рассказы «*обратных*» ошеломили его, подействовали, по словам корреспондента, убийственным образом. Однако он пошел далее, неведомо куда, так как ему ничего иного не оставалось делать.

Выше мы видели, что *обратных* на томской переселенческой станции можно было отметить только тридцать семь семей, притом один только раз, в промежуток времени с января по июнь, между тем как в этом микроскопическом уголке Сибири отмечено случайным корреспондентом уже до сорока семей, возвращавшихся обратно. Что же творится в тех бесчисленных сибирских норах и трущобах, которых не отыщешь ни на какой карте, и откуда не присылается

никаких корреспонденций? Цифра обратных, миновавших Томск, относится к краткому промежутку времени между 21-м и 30-м июня; сведения корреспондента говорят о том, что движение обратных было и в феврале, и в марте, и в июне (5-го числа), тогда как ни февральских, ни мартовских отметок о количестве *обратных* нет в томской переселенческой хронике.

Из этого можно видеть, какая путаница царит над переселенческим делом и в какой беспорядочности оно находится, – хотя в бумажной суете сует и нет недостатка.

«Крестьяне нескольких обществ *Краевской и Армашевской* волостей Ишимского округа¹⁴, в числе 51 человека, *нуждаясь в земельных угодьях*, так как все они дети отставных солдат, обратились в тобольскую казенную палату в начале 1882 г. с просьбою о перечислении их в *Ашльковскую* волость Тобольского округа и наделения их землей из дачи *Балахлейских* юрт, где свободной земли более чем достаточно». Так началось это дело и пошло таким порядком. Казенная тобольская палата 21-го июня 1882 года составила постановление об удовлетворении просьбы крестьян и занесении их в оклад по *Ашльковской* волости, а также и о наделении их землею. Но несмотря на постановление казенной палаты, утвержденное губернатором, земли не были отведены новым крестьянам. Прождавши *полтора года*, они снова обращаются за разъяснением к тобольскому губернатору и получа-

¹⁴ «Сиб<ирская> газ<ета>» <18>88 г., № 9.

ют ответ, что ходатайство их передано в казенную палату, от которой и *зависит* все их дело и которая, как мы знаем, уже решила его в их пользу. Продав еще *полгода* ответа казенной палаты и ничего не дождавшись, крестьяне, в половине 1885 года, снова пишут прошение, на этот раз уже на имя председателя губернского совета по крестьянским делам. В августе того же года просители были извещены, что прошение их пересылается из Тобольска в Омск, в управление государственных имуществ Западной Сибири. Получив это *решение*, крестьяне опять стали ждать чего-то и ждали ровно двадцать месяцев; продав эти двадцать месяцев и не получив ровно никакого ответа, они вновь принялись за писание просьб и сначала пишут опять тобольскому губернатору, который опять *препроводжает* ее в Омск, откуда, наконец, 22-го августа 1887 года и приходит бумага за № 7566.

В бумаге этой сказано, что именно в этом году, то есть через пять лет после подачи первой просьбы, сделано (конечно, *надлежащее*) распоряжение о наделении их землей, хотя, как мы знаем, еще пять лет тому назад они были наделены уже ею по решению казенной палаты.

Однако, несмотря на обилие всех этих просьб и бумаг, земля крестьянам опять-таки не была нарезана. Подождав еще некоторое время, крестьяне надумали опять приналечь на «прошения», и на этот раз подали «одним махом» в два разные места, – и в управление государственных имуществ в Омск и в тобольский комитет по крестьянским делам. В Ом-

ске прошения не рассматривали, о чем, однакоже, крестьяне были уведомлены опять же «надлежащим» образом через межевое управление; на второе же из Тобольска им ответили, что наделение их землею зависит единственно только от омского управления государственных имуществ, дав, однако, указание, что на медленность наделения и на отказ омского управления государственных имуществ они могут жаловаться прямо г. министру, и кроме того присовокупили самое приятное сообщение, что дело их передано для скорейшего исполнения г. Архипову. Здесь оно благополучно и окончилось, как тому и быть следовало.

Но омское управление нашло, что дело рассказано совершенно неверно, и при бумаге препроводило в газету опровержение всего рассказанного. Из этого опровержения¹⁵ оказалось, что 51 чел. крестьян, якобы желающих переселиться из *Армашовской* волости в *Ашлыкловскую*, ничего подобного не желали, так как испокон века были старожилами этой самой *Армашовской* волости. Около пятидесяти лет тому назад они, привлеченные доходностью извозного промысла, самовольно переселились из Пензенской губ. и заняли именно те самые Балахлейские юрты, в которые, как утверждает газета, они *хотят переселиться*. Здесь все эти крестьяне *спокойно проживали сорок лет*, пользуясь земельными угодьями по соглашению с инородцами. Затем, *в 1879 году*, когда число душ крестьян значительно увеличилось, они обратились в

¹⁵ «Сиб<ирская> газ<ета>», № 21.

тобольскую казенную палату о причислении их к месту жительства (так как до сих пор жили *спокойно* без всякого причисления, прямо своевольно) и о наделе землею. Палата, пересчитав их по пальцам в первый раз в своей жизни, объявила им, что ни причислить, ни наделить их землею *нельзя*, так как ей неизвестно еще, имеют ли право владения этой землей и сами инородцы, и предложила надел в даче *Ашлык-овской*, то есть предложила перейти на другое место, чего старожилы *армашевцы* не похотели, а как самовольно сорок лет жили *спокойно*, так и стали продолжать: стали самовольно присвоивать себе необходимые для пашни земли, сенокосы, занялись высидкою дегтя и вырубкой строевого леса, и это *своевольство* шло во все время их ходатайства, до тех пор, пока только в прошлом, 87-м году не было расследовано, что татары не имеют права на Балахлейский участок, и тогда же просители были уведомлены бумагой за № 7566.

Таким образом, и газетная статья и опровержение благополучно закончилось на одном и том же номере *бумаги* – 7566; но какая невозможная окоlesiца тянулась, как оказывается, не с 1882 года, а еще с 1879! Вся непрерывная *восемилетняя* волокита ни на волос управлением не опровергается, и, следовательно, и казенная палата, и управление государственных имуществ, и крестьянское присутствие сделали то самое, что рассказано в газете. Оказывается, что никакое ведомство, до подачи крестьянами прошения в 1879 году, не знало об их существовании, а когда узнало, то од-

но из ведомств тотчас же *наделило их землей*, а другое тотчас же отказало в наделе и нашло выход для крестьян в переселении с тех мест, где они *спокойно жили сорок лет*; оно не остановилось перед такой мерой, в то время когда и само еще не знало, чья это земля, на которой живут переселенцы, и узнало об этом только в 1887 году.

Между тем в том же опровержении, очевидно под влиянием гуманных веяний времени, мы находим такие строки: «Все удобные земли заняты *старожилами*; правильно ли заняты они, это вопрос, разъяснение которого и составляет всю трудность дела. *Пренебречь интересами старожилов, употребивших много упорного труда на разработку находящихся в их пользовании земель, потому лишь, что эти земли приглянулись переселенцам, едва ли было бы справедливо*». Этими трогательными словами опровержение хочет устыдить автора опровергаемой статьи, который, приняв крестьян-старожилов за переселенцев, просьбы которых не удовлетворяются по годам, сказал несколько слов в защиту переселенцев вообще. Опровержение, в свою очередь, становится на защиту *старожилов*, тогда как то же перо, которое пишет эту защиту, несколькими строками выше свидетельствует, что оно же само предписывало 51 чел. *старожилов, спокойно проживших на одном месте сорок лет*, разорить себя переселением, то есть *пренебречь плодами упорного труда, употребленного на разработку занимаемых ими земель*, хотя в то же время само и понятия не имело, чьи та-

кие это земли, и, чтобы разузнать это, не поцеремонилось морить людей ожиданием в течение *восьми лет*. Вот как существует целые века эта неутомимая бумага, и вот от нее какой толк!

ХII. Канцелярские тайны

Возвратимся опять к разговору о судьбе тех двадцати восьми семейств, о которых мы уже говорили раньше, чтобы яснее видеть, до какой степени переписка тяжело отражается на крестьянине. Все эти двадцать восемь семей *разбредлись* с земли, арендованной ими у наследников г-жи Бескоровайной, единственно только под давлением совершенной неопределенности своего положения, зависевшей исключительно от неопределенности канцелярских мероприятий. Нужно впасть в полное отчаяние, чтобы, бросив родину, распродав и расточив имущество, вновь решиться предпринять тысячеверстный обратный путь туда, где заведомо не будет уж ни малейших средств начать новую жизнь.

Ирбинская (якобы) заводская дача, в которой арендовали землю двадцать восемь несчастных семей, до сей минуты представляет собою решительно невероятное явление. «Владелица дачи, — читаем мы в специальной статье, посвященной этому делу, — *никакого завода там никогда не заводила*, а вела кляузные процессы с казной, сдавала в аренду золотые промыслы в черте своей дачи и собирала оброки, как помещица, с живущих на ее земле крестьян». Несмотря на вопиющую несправедливость таких действий, генеральша Бескоровайная до самой смерти пользовалась оброком с неизвестно чем ей обязанных крестьян и оставила дачу в сто ты-

сяч с лишком десятин благополучному наследнику. *Несмотря на решение енисейского губернского суда, присудившего Ирбинскую дачу вернуть казне*, «оказывалось невозможным выжить наследников из не принадлежащей им земли». При жизни своей г-жа Бескоровайная «не выполняла *никаких требований, поставленных ей казной*: казна предъявляет иск, но г-жа Бескоровайная продолжает хозяйничать; пока дело, вполне бесспорное (о том, что она, как заводчица, не имеет права на землю), тянется десятки лет, с крестьян должным порядком собираются оброки, даже сама администрация помогает взыскивать недоимки, посторонние лица снимают прииски и дело не кончено до сих пор».

Таким образом, земля, по всем божеским, человеческим и, паче всего, по подлинным законам принадлежащая казне и прямо подлежащая заселению пришлыми переселенцами, почему-то *отдается почти в вечное владение* г-же Бескоровайной и ее наследникам, а переселенцы, имеющие на эту землю неотъемлемое право, оказываются в необходимости разбрестись кто куда и расточить свое достояние.

И в то же время то же управление, *во имя этих самых переселенцев*, отчуждает сотысячный завод у владельца, заводчика Пермикина, пользующегося тут же, рядом с г-жей Бескоровайной, своим правом на основании высочайшего повеления, и взамен отчужденных у него владений предлагает ему равное количество трясин и дебрей. В видах устройства переселенцев, оно отчуждает от владельца завод, кото-

рый вовсе не нужен переселенцам, а земли, которая им нужна и которая лежит тут же в размере ста тысяч десятин, оно не находит почему-то возможным нарезать.

Все это подлинные факты. Сумеет ли кто-нибудь из читателей этих писем понять и уяснить себе тайну, из которой истекает такая поистине непостижимая неурядица? Думаю, что не сумеет, как не сумеет понять и разобраться в этой тьме и переселенец, которому, как видите, наилучший исход – уйти на край света. Не сумел бы понять и я, при всем моем желании, если бы одно случайное обстоятельство не пролило некоторого света на отношения людей (знающих «сибирскую подноготную») к сибирской власти, конечно старых времен.

Случайно я получил самую точную копию с письма одной тайной советницы, фамилия которой почти до последней буквы схожа с фамилией тайной советницы Бескоровайной, которая беспрепятственно могла нарушать всякие божеские и человеческие законы и передала знание этого секрета, как кажется, и наследникам, потому что и они владеют землей попрежнему самым незаконным и самым спокойным образом. Тождественность копии с оригиналом удостоверена тем самым лицом, которому письмо это писано и которое уж не могло оправдать привычных надежд г-жи Б-ной и передало его для опубликования в газете, что, кажется, и было исполнено несколько лет тому назад. Письмо это адресовано в г. Минусинск, *2-ну помощнику начальника Енисейского жандармского управления Минусинского и Ачинского*

округов (№ заказного письма 564. Получено в Минусинске 7 февраля из Петербурга). Как светская женщина, г-жа Б-ная начинает свое письмо самыми тонкими любезностями, хотя изложенными довольно безграмотно:

«Не имея чести лично Вас знать, слышавши же о Вас, как о деятеле *вполне энергичном*, решаюсь покорнейше просить Вашего содействия и помощи в получении следуемых мне доходов с крестьян за землю и прочего моего имения, находящегося в Минусинском округе».

Все в этих строчках свидетельствует о желании изложить свою просьбу как можно вежливее; но тайговая бесцеремонность обхождения не дает г-же Б-ной выдержать благообразный тон долгое время, и она почти тотчас же начинает говорить уже своим тайговым языком:

«Подробности Вам передаст мой доверенный (имя рек и адрес); теперь же сообщу Вам, что за 82 и 83 годы можно содрать тысяч по десяти за каждый год, да еще за предыдущие не все получено. Если вы изъявите Ваше доброе согласие мне помочь, то прошу Вас удержать в свою пользу на расходы по моему делу за 82 и 83 г. по 20 (двадцать) процентов с рубля дохода с крестьян, а за 84 по 15 % (пятнадцати) с рубля того же дохода... Примите уверение в моем уважении к Вам и преданности».

Не без основания, должно быть, эта почтенная дама просила отвечать ей: *«Петербург, Почтамт, до востребования»*, – 4000 руб. на расходы, это ведь *взятка*, да и вообще

все дело *сдирания* темное; кто-нибудь мог бы узнать об этом замысле, а ведь это не принято в петербургском большом свете, чтобы просто-напросто «*содрать*» шкуру и поехать в оперу, как ни в чем не бывало. Делая же это дело тайно, бойкая дама могла бы являться в свет без всякого стеснения; она надеялась, что лицо, к которому она написала, непременно тотчас же начнет «сдирать», – взятка огромная. Но надежды почтенной дамы не оправдались. Быть может, кто-нибудь и теперь *сдирает*, только не то лицо, к которому было адресовано письмо.

Но как ни удивительно все, что мы рассказали относительно затруднений, разрушающих в нашем крестьянине надежду на возможность хорошо и просто устроиться на новых местах, мы далеко еще не исчерпали всех темных сторон переселенческого дела. Помимо затруднений, исходивших из непонятных нам канцелярских соображений, есть в Сибири такие учреждения, в деятельности которых, касающейся переселенцев, среди всяких недоразумений иногда проглядывает видимое нерасположение к пришлому народу, замышляющему завладеть во всяком случае чьими-то и кому-то принадлежащими землями.

ХІІІ. Омскіе порядки

На обратном пути из Томска в Россию мне пришлось на некоторое время остановиться в Омске, где сосредоточены: во-первых, общее центральное управление собственно Степным генерал-губернаторством и, во-вторых, центральное управление государственными имуществами *всей* Западной Сибири, то есть такое учреждение, в ведении которого находится необозримейшее пространство земель от Ледовитого океана до Туркестана и от заботливости которого зависит участь каждого крестьянина, живущего или появляющегося на этой территории, чтобы жить земледельческим трудом.

Место, как видите, чрезвычайно любопытное, и в переселенческом деле, как центральное управление, ведающее все казенные земли, имеет большое значение. Но, к сожалению, времени для пребывания в Омске у меня было очень мало, и поэтому я, для ознакомления читателей с положением переселенческого дела в Степной области Западной Сибири, должен ограничиться сведениями, исключительно заимствованными из местной печати.

Не сразу, однакож, удалось мне разобраться в такого рода материале, так как, быть может вследствие дальности расстояний от Омска до Томска, приходящие в Томск известия очень и очень часто противоречат одно другому самым ко-

ренным образом, появляясь иногда в одном и том же номере газеты. «Официальные данные» в том же самом номере опровергаются, а иногда нет возможности определить, какие именно из центральных омских «управлений» совершают то или другое мероприятие по переселенческому делу.

«Из Омска нам сообщают¹⁶, что *состоялось распоряжение о водворении в Акмолинской области всех переселенцев, прибывших до весны настоящего года, для чего командирится начальник переселенческого отряда г. А. Дуров. За это переселенцы единственно должны благодарить генерала Колпаковского*». В следующем № 35 опять весьма приятное известие: «С удовольствием можем сообщить, что министерство государственных имуществ решило вопрос о взимании арендной с переселенцев платы в отрицательном смысле. Не только повышенной арендной платы, как проектировало омское управление государственных имуществ, но *никакой арендной* платы с переселенцев на казенные земли взиматься не будет».

Но едва автор этой заметки дописал последние строчки своего известия, как тут же под чертой, заканчивающей статью, печатается циркуляр, опубликованный 1-го апреля 1888 года в «Семипалатинских областных ведомостях». Приводим его в дословной перепечатке:

«Г. Степной генерал-губернатор, предложением 17-го марта сего 1888 г., за № 1105, *в видах прекращения совершен-*

¹⁶ № 34 «Сиб<ирской> газ<еты>».

но беспорядочного переселения крестьян разных губерний в Степной край, предложил к исполнению следующее распоряжение:

1) Уездные начальники обязываются приказать волостным управителям и аульным старшинам, чтобы они внимательно следили за прибывающими переселенцами и немедленно доносили в уездные управления о каждом вновь прибывшем (после 15-го марта) переселенце.

2) Уездные начальники немедленно требуют вновь прибывших переселенцев в свои управления и проверяют, имеют ли эти переселенцы увольнительные приговоры от своих обществ; если приговоров нет, то уездные начальники предлагают вновь прибывшим переселенцам *выселиться из Степного края*, объявив им, что *никаких земельных наделов они не получают в означенном крае; если же переселенцы эти не выселятся в течение трех месяцев* после предварения их уездными начальниками, то эти последние входят с представлением к военному губернатору о *водворении таких бродячих людей этапным порядком из пределов Степного края*.

3) Если переселенцы имеют увольнительные от своих обществ приговоры, но не имеют разрешения на переселение от своего губернского начальства, то уездные начальники предваряют таких крестьян, что впредь до разрешения на водворение в Степном крае, которое может последовать лишь по сношении с центральными правительственными учреждениями, они, переселенцы, *никакою землею поль-*

зоваться не имеют права, за исключением лишь тех земель, которые сдаются за плату в арендное содержание жителями городов, станиц, крестьянских селений и киргизами».

В § 4–5 излагаются подробности и формальности арендных договоров, и мы опускаем их.

«б) Всех переселенцев из Сибирских губерний немедленно выдворять, с разрешения начальника области, этапным порядком из Степного края, отправляя в места причисления».

«Предлагаю гг. уездным начальникам принять распоряжение его высокопревосходительства к руководству и неуклонному исполнению, причем предваряю, что, в силу указаний его высокопревосходительства, всякий волостной управитель или аульный старшина, не донесший уездному начальнику в течение двух недель, подвергается в первый раз аресту на семь дней, а во второй раз удалению от должности; всякий уездный начальник, не исполнивший указанных здесь обязанностей, подвергается: в первый раз замечанию, во второй – выговору, в третий – перемещению на низшую должность».

«Настоящий циркуляр семипалатинского военного губернатора, – говорит одна местная газета, – идет вразрез со всем тем, что мы до сих пор привыкли видеть в деятельности Степного генерал-губернаторства. Распоряжения ген. Колпаковского, касающиеся экономического и административного устройства вверенного ему края, отличаясь всегда

определенностью, носили на себе следы несомненных забот об участии оседлого и кочевого населения».

Как видит читатель, циркуляр этот не похож на бесплодное бумагомаранье, однако и он заставляет в том же №, и, пожалуй, даже той же самой рукой, которая писала радостное известие, написать следующие слова: «Настоящий циркуляр *идет вразрез* со всем тем, что мы до сих пор привыкли видеть в деятельности г. генерал-губернатора». За исключением подобных циркуляру вполне достоверных известий из Омска, известия о многочисленных мероприятиях многочисленных учреждений, сосредоточенных в Омске, вообще не дают ясного понятия о целях их деятельности. Кажется, ведь и комитет *колонизации* при Степном управлении и *комитет* о переселенческом деле при управлении государственных имуществ должны бы делать одно и то же дело (колонизатор тот же переселенец); но почему однородное дело делается на основании разных усмотрений, разных комиссий, – это пока не подлежит определению.

* * *

«Из Омска нам пишут¹⁷, что там произошла *чернильная революция*, не вполне, однако, ниспровергшая чернильный порядок. Некто г. Симонов стал готовить хорошие чер-

¹⁷ «Сиб<ирская> газ<ета>», <18>88 г.

нила по *два рубля за ведро (!!!)*, тогда как г. *Розенплентер*, местный аптекарь, богач, брат начальницы женской гимназии и член попечительного совета этой гимназии, *берет за ведро (!!!) шесть рублей*. Омск, городок канцелярий, изводит чернил целые моря, и потому г. *Симонов*, естественно, получил *большие заказы*; но *некоторые* из учебных заведений не решаются изменить г. *Розенплентеру*». Когда, спрашиваю я всякого крещеного человека, мог он даже только подозревать, что где бы то ни было могло существовать ведерное потребление чернил? Каково же поглощение этого продукта, если г. *Симонов* находит выгодным продавать *по два рубля за ведро*, тогда как чернила еще вчера продавались по шести? Вы только представьте себе *ведро чернил* вместо этой крошечной баночки в 15 к. и подумайте, каким родом можно нуждаться в таком непомерном резервуаре этого снадобья?

Но, хотя я и был изумлен этим неожиданным известием, вместе с тем тотчас же понял очень много таких вещей, которые были для меня, как для человека, не знающего условий сибирской жизни, совершенно таинственными. Во время поездки по Оби, руководствуясь путевым указателем г. Павлова¹⁸, я не мог понять мельком прочитанного сведения о том, что в 1852 году писчебумажный завод в Тобольске, ныне закрытый, продавал писчей бумаги на 8781 р. в год. Казалось просто непонятным, зачем и почему в этих глухих жи-

¹⁸ «Три тысячи верст по рекам Западной Сибири». Очерки и заметки А. Павлова. 1878.

воедных и кровопивных местах основывается писчебумажный завод? Теперь же мне стало ясно. Тобольск в ту пору был такой же центральный пункт, как теперь Омск, и, следовательно, поглощал бумагу в большом количестве, как теперь должен поглощать ее и Омск.

Такое умозаключение выяснило мне старинный *центральный пункт* управлений, как место неусыпной переписки. Дремучая тайга и степь необъятная, а в глубине ее «управление», командующее над территориями, размеры которых превышают размеры Западной Европы. Можно ли было что-нибудь сделать в *самом деле путное*, при условии одних только неизмеримых расстояний, отделяющих центр неизмеримыми расстояниями от окраин, даже от ближайших мест, где находятся подчиненные губернии, второстепенные органы управления? У кого хватало смелости думать, что он в самом деле делает дело, споспешествующее жителям села Дырявина, когда он знал, что прошение о помощи едва только через полгода дошло от жителей Дырявина до управления, что ответ дырявинцам о том, что прошение их послано *надлежащим* порядком в Петербург, опять-таки не есть действительное дело, так как в Петербурге бумага пролежит год, а придет в центр через полтора года, и даже если бы в ней и заключалось *надлежащим* образом удовлетворить дырявинцев, то уведомление об этом дойдет к дырявинцам тогда, когда их совсем и на свете не будет, или когда они, не дождавшись решения, разбредутся

кто куда.

Вот почему я думаю, что сибирский чиновник старого типа *не мог не быть убежденный*, что вся его переписка – только формальность, что все эти бумаги решительно ни для кого и ничего ровно не значат, что никому от них нет ни малейшей пользы, но что бумаги эти в то же время необходимы, что их надобно писать, что в этом писанье – служба, жалованье, положение.

Сколько мне ни приходилось разговаривать с чиновниками «нового типа», то есть людьми, в которых уже прочно воспитана потребность совестливого отношения к делу и вообще нет привязанности к бумагомаранию, все они, каждый по своему ведомству, ознакомливаясь в архивах с историей и трудами этих ведомств, теряются в обилии пустопорожней переписки, как бы нарочно не дающей никаких точных сведений по подлежавшей их ведению отрасли управления.

Межевание сибирских земель началось со времен Алексея Михайловича и непрерывно идет до сих пор; но те молодые землемеры, которые хотят узнать что-нибудь достоверное относительно землевладения, теряются в той бессмысленности, скрывающей как бы какую-то тайну, которая разверзается в документах, касающихся двухсотлетнего межевания и наполняющих архивы. Повидимому, все эти «планты» точно «планты»: и масштабы есть, и красками разными «пущено», все как должно; но на «планту» помечено, что он неверен и передан для пересмотра, который идет десять лет и на

одиннадцатый является опять еще более неверным, чем был, для того опять, чтобы новая комиссия еще на тридцать лет затащила дело перемежевания. А тот таинственный человек, который *сунул* своевременно в руку, которая разрисовывает «планты» разными красками, спокойно здравствует на незаконно присвоенном месте. И так решительно по всем ведомствам старинной системы управления. Бумага, «плант», решение суда всегда написаны, начерчены, занумерованы по всей форме и строгости закона; дело же и действительность, сокрытая под грудой бумаги, – совсем другое. Житель города Ишима Семен Матвеев Курдюмов в апреле 1887 года найден убитым и ограбленным и предан погребению, – так написано в бумагах; на деле же он, этот самый Семен Матвеев, здоров, невредим и едет с вами в Пермь по железной дороге. Только он уже не ишимский житель, а крестьянин-кержак с Баранкина, Тарского округа. Умер же он по всем бумажным правилам, потому что был пойман как фальшивый монетчик, которому предстоит каторга. Убийца его не разыскан. Или также вот этот господин, очень хорошо одетый, хотя, видимо, в самом деле обтесанный топором в человеческий образ; он также едет с вами из Перми, куда ездил по делам, а все знают, что ему бы надо было быть в каторге, так как он своеручно ухлопал своего гуртовщика. «*Замяли*», говорят вам о таких делах и называют какой-нибудь городишко, где ничего иного нет, кроме канцелярии, где «на столе чернил ведро, под столом стоит другое...»

Взятка, сование в руку, и даже не в темном углу, а открыто, «как должное», несомненно имели в былое время огромную силу. Эта затхлая старина как нельзя лучше выразилась, между прочим, хотя бы в деле крестьян, хлопотавших восемь лет о том, чтобы им дозволили жить там, где они прожили уже сорок лет «спокойно». Переписка «сама по себе» в старое время была уже «делом» и строчение бумаг совершенно пустопорожного содержания, без всякой корыстной цели, единственно только из любви царапать что-то на бумаге, занумеровать, отправить, требовать ответа и отвечать. Однако эта бесцельная переписка дожила и до наших времен, но, к сожалению, практикуется уже над делами важнейшего значения, каких в старину и не бывало; но что именно старина изобрела пустопорожнее строчение и довела его до степени действительного дела, веруя, что в этом пустопорожном бумагомарании есть настоящая служба отечеству, — в этом, кажется, не может быть сомнения, особливо ввиду нижеследующего смехотворного примера.

* * *

В первом томе (за 1879 год) «Записок западносибирского отдела императорского Географического общества», в статье г. Н. Н. Кострова «Колдовство и порча в Томской губ.», собрано не столько фактов народного невежества, сколько доказательств того, до каких размеров может дойти пусто-

порожность переписки, единственная цель которой – оправдать сумму «канцелярских расходов» и так или иначе истратить определенные по канцелярскому бюджету ведра чернил. Из массы самых невероятных «переписок» по поводу самых бессмысленных дел я приведу только одну переписку «О женщине, родившей двух кротов» и перескажу как можно короче это смехотворное дело, собственно для того, чтобы читатель мог видеть, насколько такая пустопорожняя переписка способна сделать что-либо путное для страны, в то время, когда задачи этой переписки стали уже совсем не смехотворными.

В 1809 году сельское общество д. Менщиковой (Каннского округа) заметило, что дочь крестьянина Чердынцева, Марья, беременна, а потому, чтобы не дать ей возможности известить ребенка, призвало ее на сходку. Здесь Марья совершенно просто объявила, что она беременна, прижила ребенка с Павлом Парыгиным. По освидетельствовании Марья оказалась беременной и была отдана под надзор отца. Но скоро она вышла замуж за крестьянина Усть-Тартасского форпоста Каргополова, который взял ее «зазнамо беременную». Через две или три недели после свадьбы она уехала с мужем на заимку, и здесь, на последний день масленицы, после предродовых мук, в присутствии матери своего мужа, Екатерины Каргополовой и повивальной бабки Анны Елисеевой, родила двух кротов, из которых один был мертвый, а другой живой, но Екатерина Каргополова раздавила его с

испуга ногой. Муж Марьи, убиравший в это время во дворе скот, вошел в избу и видел также двух кротов, рожденных его женою, и тотчас же дал знать в Усть-Тартасский форпост об этом необыкновенном происшествии. Приехали старшина и понятые; все они видели кротов и взяли их для представления по начальству¹⁹.

Кажется, не надобно обладать особенной проницательностью, чтобы понять, в чем тут дело. Зазнамо беременная девица была взята как сильная, работающая женщина в хозяйственное семейство. Муж на это «не серчал», как видим, так как и Парыгин давно уже ушел и находился неизвестно где в отлучке. Но мать мужа Марьи, привезя беременную невестку, конечно, всячески должна была желать, чтобы на новом месте, среди чужих людей, жена его сына пользовалась также и хорошей репутацией, и вот выдуманы два крота, которые родились только при матери мужа да при деревенской повитухе, которая за рублик не задумается и соврать так, что бабы поверят. Казалось бы, начальство прямо должно было узнать, где и куда девался ребенок, который должен был родиться. Да? Но так просто дела в мире переписки не делаются. Сделать дело просто – не в обычае образцового чернилоеда, почему он и предпочитает канцелярскую волокиту простому и скорому делу. На дело, о котором идет речь, пошло два года.

Как только старшина и понятые представили двух кро-

¹⁹ Стр. 14.

тов по начальству, начальство, по обыкновению, устранило из дела главное – розыск ребенка, – но принялось строчить. Началось следствие, при котором «все поименованные лица показали всё то же, что сказано выше». Свекровь и повитуха видели, как Марья родила кротов, все прочие видели только кротов, объяснив, что все это произошло от порчи, а кто испортил Марью, не знают. Так показывали деревенские темные люди. Но вот ученый доктор Яворский посмотрел на дело с высшей точки зрения. По освидетельствовании этим доктором родильницы оказалось, что ей 25 лет от роду, телосложения она плотного, здорового, но одержима легкой родовой горячкой. По уверению бабки, роды начались, как обыкновенно, свойственными периоду беременности припадками, в результате которых и было, что вместо ожидаемого ребенка «выпали два зверька». По осмотре этих зверьков доктор Яворский нашел, «что они из породы кротов и, по описанию Гесснера, называются *обитателями подземными четвероногими*; относительно же зарождения их в матерней утробе человеческого рода весьма сомнительно, поелику нет до сего времени подобных опытов, которые подтвердили бы сию возможность, *хотя, впрочем, невозможно утвердительно отрицать*».

Здесь следует самое точное доказательство того невероятного факта, что *женщина все-таки может родить двух зверьков*. Я не привожу подробного описания этого удивительного дела, потому что оно объяснено до чрезвычайно-

сти *нескромными* предположениями. В конце этого неприличного реферата доктор Яворский прямо говорит, что даже *с невиннейшими существами* бывали подобные примеры, и только *в сем случае* «не можно утвердительно сказать».

Эта неприличная бумага пошла во врачебную управу, которая, рассмотрев научный реферат доктора Яворского, также и самых зверьков, нашла, «что означенные зверьки суть в таком виде, в каком они бывают при рождении, но как испытателями естества до сих пор опытами не доказано, чтобы человек мог родить собаку, или кошку, или какого другого зверя, и почитают все сие за басни, да и по судной медико-хирургической науке г. Пленка, которая бывшею государственною комиссиею при *оной* (?) типографии отпечатана и разослана для соображения, значитса, что никаким наблюдением доказать не можно, чтобы от человека распложалось животное... да и сам г. Яворский утвердительно о таковых родах не пишет, *а только возможность оных не отвергает*, то управа, основываясь на *оной* судной науке, не утверждает сей случай родов быть истинным».

С таким «заключением» врачебной управы дело поступило в каинский уездный суд. Суд дал такое заключение: «как ту крестьянскую жену, Марью Каргополову, в рождении двух зверьков, по обстоятельствам дела, почесть не можно виновницею, то посему, сообразно силе «Воинских процессов» 2-й части 5-й главы и 9-го пункта, оставить от сего дела свободною, а что она показывала на себя... то хоть в том утвер-

дительного ничего не найдено, однакож за сие... по 263 ст. Устава благочиния, оштрафовать ее пенею...»

Но гражданский и уголовный суд не согласился с таким решением уездного суда и счел необходимым командировать особого «благонадежного чиновника» (прогоны, суточные, подъемные). Командирован был ассессор томского губ<ернского> прав<ления> Залетов, который и произвел *новое следствие*, причем *открылись* только два обстоятельства, а именно, что *после рождения кротов* у Марьи, по показанию ее самой и свекрови, не было капли молока и что Павел Парыгин ушел в солдаты и остался поэтому не спрошен, а затем все остальные показали то же, что и прежде. Поэтому гражданский и уголовный суд постановил следующее решение: «так как из дела видно, что при всех разысканиях не обнаружено, чтобы Марья Каргополова родила или истребила младенца, хотя беременность ее и была приметна, а потому и *нельзя решительно заключить, чтобы объявленное ею рождение двух кротов было только выдумкою, тем более что о рождении ею зверьков уверяют ее свекровь и ее повивальная бабка*, то сколь сие ни *умоверно* и как ни подозрительно, однакож, по необнаружению следствием главным образом обмана, приговорить ее к телесному наказанию опасно, и для того, на основании «Воинских процессов» 2 ч. 5 главы 10 п. и указа 1763 г. февраля 10-го дня, оставить ее от дела свободною, *впредь до изобличения*».

По этому совершеннейшему образчику прародительской

переписки ведется такая же переписка и в настоящее время, с тою, однако, разницею, что прежние искусники бумагомарания были много гуманнее нынешних. Девуцу, совершившую *неимоверный* поступок, несколько раз, как мы видели, пытались наказать, искали случая оштрафовать и даже упоминали о телесном наказании, однакож не решились сделать этого, полагая, что такое незаконное сечение есть дело *опасное*. Нынешние же потомки писчебумажных предков, напротив, будучи столь же невнимательны к сущности дела, однакож не церемонятся постановлять мероприятия, иногда весьма тягостные для людей, которые обращаются к ним за помощью. И вообще нельзя не видеть, что во множестве совершенно нового рода дел дела эти решаются большею частию *по старому* способу, не имеющему с тем новым способом, выработанным самою жизнью, удовлетворения народных нужд, который практикуется в Тюмени и Томске (только!), – ничего общего.

В одном из предшествовавших писем мы упомянули о девяности семьях, голодавших прошлую зиму. По «новому» способу дело это исправлено таким образом: «В конце третьей недели поста г. Архипов лично прибыл в деревню Салтаимскую. Ознакомившись с положением переселенцев, он раздал им *более 1000 рублей*, причем имеющим какое-либо имущество давал *меньше* (по 10 р.), а *не имеющим ничего* давал *больше* (по 20 р.), обещая дать ко времени посева на семена. До этого времени салтаимовцы надеются просуше-

ствовать на это пособие²⁰. Вот *нынешний* способ отношения к народу, как видите, совершенно не признающий переписки там, где надобно делать добро. Тем, у кого *ничего нет*, дают больше, нежели тем, у кого что-то *есть!* Подивитесь этому! Ни одно ссудное сельское товарищество не дает копейки тому, у кого *ничего нет*, а дает именно тому, у кого есть, и чем больше у него есть, тем больше и дадут. Здесь же совершенно наоборот, то есть совершенно так, как и быть должно.

Но, с другой стороны, и положение чиновника, заведующего переселенческим делом, во всех отношениях совершенно новое; во-первых, у него есть эта тысяча рублей, а у деятелей канцелярии нет на это дело ничего, кроме чернил. Г. Архипов заведует только Тобольской губернией, а омское управление заведует *всей (!)* Западной Сибирью, которая состоит из губ<ерний>: Тобольской, Томской и Степного генерал-губернаторства, причем это последнее состоит из трех огромнейших областей: Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской. Чтобы судить, какова эта территория, достаточно сказать, что одна Томская губерния, по сведениям «Памятной книжки» Томской губернии 1884 года, имеет территорию размером в 759 068 квадратных верст и, «сравнительно с пространством западноевропейских стран, *превосходит*: владения Великобритании в 2 1/2 раза, Пруссию в 3 раза и Францию в 2 раза». Спрашивается: есть ли, при таких условиях, какая-либо возможность делать на та-

²⁰ «Сибирская» г<азета>«, № 32.

ком огромном пространстве небольшому штату чиновников что-либо мало-мальски путное? Представьте себе территорию двух Франций и назначьте на всю эту территорию пятнадцать межевых чинов, а затем и решайтесь осуждать их за то, что они ничего путного сделать не могут. Нет, мы далеки от осуждения, и если говорим все это, то единственно для того, чтобы и читатель не осуждал добросовестных чиновников, которые действительно должны радоваться, что хоть чернила-то стали продаваться по два рубля за ведро вместо шести. Да разве одно только переселенческое дело всей Западной Сибири и нарезка казенных земель составляет главную заботу управления государственных имуществ в Омске? Далеко нет: права на земельные владения старожилов также еще почти не выяснены достаточным образом, и в настоящее время выдвигается новый вопрос: как бы переселенцы не разорили вконец старожилов, которые уже и начинают переселяться *от тесноты* из территории, равной двум Франциям, в другую, ничуть не меньшую, тайговую территорию. Словом, дела бездна, но пока еще нет необходимых средств для его выполнения.

Кроме центрального управления государственных имуществ всей Западной Сибири, в Омске сосредоточены органы местного управления Степным генерал-губернаторством. Имея в своем распоряжении не столь необъятную территорию, как *вся* Западная Сибирь, Степное генерал-губернаторство может поступать более определенным образом, не

ограничиваться перепиской, а совмещать слово и дело воедино. Но все-таки было бы желательно, если бы кто-нибудь из лиц, живущих в Омске и знакомых с положением переселенческого дела в Степном генерал-губернаторстве, ознакомил бы русское общество с действительным положением этого дела и сообщил о нем возможно подробные и обстоятельные сведения.

* * *

Прискорбные эти страницы о переселенцах позволю себе закончить указанием на развитие благосостояния одной переселенческой партии, очевидно счастливо избежавшей всякого соприкосновения с канцелярской волокитой и справившейся с своими нуждами без всякого содействия «бумаги». Партия эта в 1866 году поселилась в Бийском округе, Верх-Чумышской волости, и образовала д. Ивановку. При начале поселения средства к жизни этих пришельцев были самые нищенские²¹:

²¹ (Памят<ная> кн<ижка> Томск<ой> г<убернии>, <18>84).

	1866	в 1875	в 1882
Рогатого скота	12	250	361
Лошадей	65	240	344
Овец	не было	400	900
Свиней	не было	120	200
Хлеба дес<ятин>	25	260	393
Картоф<еля> дес<ятин>	1	4	4
Гороху дес<ятин>	не было	4	4
Конопл<и> десят<ин>	не было	20	40
Льну дес<ятин>	1,9	4	4

Слабо развивался бабий (огородный) труд, но ведь сколько же этого труда ушло уже на уход за скотиной! А весь секрет такого благосостояния вот в чем: переселенцы сами нашли себе «по вкусу» место и жили без вмешательства бумаги.

XIV. Обратный путь. – Ямщики и тройки. – Кнут и свист

Заканчивая мои письма о летней поездке в Западную Сибирь, я очень сожалею, что кроме переселенческого, то есть общерусского дела, мне не пришлось коснуться в них явлений собственно сибирской жизни. Чего стоит типический образ крестьянина-сибиряка, так называемого *старожила*, который понятия не имел о крепостном праве и удовлетворен по части земли сверх всякой меры, доступной жадной до земли фантазии всякого крестьянина. «Виноватая Русь», то есть тысячи ежегодно выбрасываемых порядком жизни Европейской России людей всякого звания, состояния и качества, это тоже особенность, свойственная только Сибири. Только здесь и можно видеть правых и виноватых в подлинном их виде, тогда как внутри России, целыми десятилетиями, правый может казаться виноватым, а виноватый правым. Но чтобы иметь право говорить хотя бы только об этих двух особенно приметных явлениях собственно сибирской жизни, надо много видеть, много наблюдать и еще больше читать, что уж написано об этом другими. Все это для меня было делом невозможным, вследствие крайнего недостатка времени, и поэтому, заканчивая настоящим письмом мои заметки, я скажу еще кое-что только о том, что мне пришлось, хоть и мельком, видеть самому и о чем вообще можно гово-

ритель, не рискуя впасть в большие ошибки.

Обратный путь на лошадях, от Томска до Тюмени (через Омск), казалось бы, должен был дать проезжающему массу всякого рода разнообразнейших впечатлений. Верст более трехсот от Томска за Колывань проезжающий имеет возможность испытать очарование природы Алтайского округа, хотя она здесь очерчивается уже в самых малых размерах. Здесь Алтай только начинается или только оканчивается, – но все-таки и здесь есть возможность «подумать», как он должен быть хорош «там»! Удовольствие «думать» о прелестях Алтая продолжается, к сожалению, очень недолго: при бешеной быстроте сибирской езды не успеешь и «подумать» о том или другом впечатлении, как уже кругом все другое и все новое. Мелькнуло что-то хорошее со стороны Алтая, глядь, а уж тройка мчит по скучной Барабе, по степи, распластавшейся на необозримое пространство; расстояние между небом и землей стало вдруг как-то ужасно огромно, тогда как несколько часов тому назад, в начинавшихся или оканчивавшихся прелестях горного округа, небо было ближе к земле, и земля поднималась к небу; здесь она упала низко-низко и небо ушло от нее невесть как далеко.

Огромная однообразная площадь, окружающая вас, не веселит взгляда. Грифельная доска, черная, тусклая, сухая, гладкая, – вот основной фон и цвет земли этой огромной площади. Колеса повозки оставляют на этой грифельной доске такие же следы, как и настоящий грифель. Темной, го-

лой лысиной резко очерчиваются эти черные, гладкие, сухие и тусклые лоскутья земли, между низкорослой, часто корявой растительностью, раскрашенной разноцветными красками, всегда сплошными (красное вторгается сплошным красным клином в серое или зеленое) и всегда отравленными как бы примесью какой-то посторонней краски: в синюю подбавлено чего-то серого, в красную – желтого, в зеленую – красного, причем «подбавленное» всегда производит только муть и портит цвет, делая его не чистым, а как будто во что-то запачканным. Такими мутными красками красятся тюменские ковры.

Даже бешеная сибирская езда, достигающая на Барабе, благодаря гладкой, как доска, дороге, наивысшей точки неистовства, даже она не в силах с свойственной ей быстротою изгладить, как бы следовало, скучное впечатление скучных красок степей, перенося вас с быстротою молнии опять в новую обстановку окружающей природы. Впрочем, может быть, сохранению впечатлений Барабы способствует и то, что тройка, миновав ее, мчит уже по таким местностям, к которым глаза давно уже пригляделись и в наших великороссийских местах. Вот пошли такие же самые местности «с горки на горку», как и у нас идут они от Москвы вплоть до Харькова; а вот те же самые ишимские болота, трясины, гати и тот же самый прутняк, какие нам знакомы и в Новгородской губернии. Чем ближе к Тюмени, тем природа обычнее для великорусского проезжего. Даже крайняя неисправ-

ность дорог около Тюмени, объезды почтового пути по лугам, вместо прямой дороги, – все это близко знакомо нам в нашем великорусском отечестве. Дороги же чисто сибирские, от Томска до Омска, через всю Барабинскую степь, несколько не похожи на наши: содержатся превосходно, «как скатерть»; после каждого дождя, тотчас, как только засохнут сделанные проезжими по мокрой земле кочки, вся дорога ровняется при помощи особенных катушек и вновь делается «как скатерть».

Во всяком случае на протяжении 1500 верст вопрос о разнообразии впечатлений, кажется, не может подлежать сомнению; впечатлений во всяком случае должно быть много, и притом всякого сорта; но прежде всего восприятию их препятствует необыкновенная быстрота и вообще своеобразность сибирской езды.

До первой станции от Томска проезжающие едут большею частью не на «настоящих» сибирских лошадях и не с настоящими сибирскими ямщиками. Меня, например, вез еврей на клячонках, которые, кроме гоньбы с проезжими, были изнурены уже и городской работой.

Совсем не то подлинная сибирская тройка и сибирская езда, с которыми проезжий начинает настоящее знакомство только на второй или, вернее, на третьей станции. На этой станции не выводят уже заезженных клячонок из конюшни, а сначала идут «ловить» лошадей в поле. Одно это роняет в непривычное к «сибирским» ощущениям сердце проезжаю-

щего зерно какого-то тревожного ощущения. Пока «ловят», времени много для разговора, но самое это слово «ловят» и значительный промежуток времени, употребляемый на это дело, смущают вас и ослабляют интерес к разговору. «Гонят!» – говорит кто-нибудь из домочадцев, разговаривающий с вами, и тотчас прекращает разговор, чтобы бежать помочь хозяину, который, наконец, «поймал и гонит». «Помогают» все, кто есть в это время на дворе и даже на улице. Надо махать руками, гаркнуть, даже заорать, чтобы дикие лошади всунулись в ворота и вбежали беспорядочной толпой во двор. С беспокойством видите вы, что лошади эти не заезженные клячи, а своевольные, несмысленные существа, едва ли даже знающие свои лошадиные обязанности. Посмотрите, что нужно делать, чтобы надеть узду на такую несмысленную тварь: добрая хозяйка насыпала овса в какое-то лукошко и, ласковым голосом подманивая ни о чем не догадывающуюся, наивную, растрепанную, только что валявшуюся на сене лошадку, осторожно подходит к ней с лукошком, всячески стараясь сосредоточить все ее внимание на овсе. А в то же время хозяин, как будто бы и не обращающий на лошадь никакого внимания, осторожно подвигается к этому же дикому, но наивному созданию с уздой, держа ее, однакож, за свою спину. С величайшей осторожностью хозяин и хозяйка выполняют свои специальные обязанности и после долгих стараний наконец-таки успевают сделать как-то так, что, когда лошадь прикоснется к овсу и сделает попытку по-

шевелить губами, в рот ей попадет не овес, а железная узда, и тогда только наивная тварь почувствуется, рванется, но тотчас же опомнится и пойдет в оглобли.

Таким образом, все, что делается на ваших глазах, прежде чем вы поедете, не сулит вам ничего хорошего. Но уж совсем нехорошо начинаешь чувствовать себя, когда, наконец, «все готово» и когда хозяин скажет:

– Пожалуйте, господин, садиться!

Сам он, однакож, не садится, он даже вожжей в руки не берет, а только укладывает их осторожными движениями рук на козлах таким образом, чтобы за них можно было ловчее схватиться, и все время тихонько произносит: «тпр... тпр...»

– Нет, уж садись сначала ты! – говорит проезжающий, у которого начинает что-то холодеть в груди.

– Да я вскочу-с! Не беспокойтесь! Духом взмахну на козлы!

Этих успокоительных уверений вполне достаточно для того, чтобы проезжий окончательно упал духом и возопил:

– Нет! Ни за что! Садись ты, я сяду потом!

– Да не извольте беспокоиться! Духом вспорхну!

– Ни за что на свете!

– Н-ну! Михайло, затворяй ворота! Ты, дедушка, держи коренную-то, держи крепче, навались на нее!

Ворота заперты, лошадей держат, но когда осторожно усаживающийся ямщик все-таки старается всячески не дать ло-

шадям заметить, что он берет вожжи, проезжего несколько уже не радует и то, что, по его настоянию, ямщик уже сидит на козлах. Напротив, страх окончательно овладевает всем его существом, и если же, наконец, он и садится в повозку, так единственно потому, что невозможно этого не делать, точно так же как преступнику нельзя не класть голову под топор гильотины.

Наконец голова под топором, и проезжающий в повозке.

– Отворяй! Пущай!

Что же это такое происходит?

По плану деревни, расстояние от того постоянного двора, где запрягли тройку, до местной церкви определяется с версту; от церкви до поскотника (караульщика у ворот для окружающей селение загороди) будет версты две, а от поскотника до торной дороги, окопанной канавами, еще верста. После слова «пущай!» все эти расстояния исчезают; испуганный глаз проезжего едва ощущает облик отворяемых старых ворот, и, кажется, одновременно и тут же, где мелькнули ворота, мелькает и храм и поскотник, и вот чистое поле, всё вместе и всё как во сне! Не знаешь, кто тут сошел с ума и пришел в неистовство, ямщик ли рехнулся, очумел и в беспмятстве не видит, что и он, и проезжие, и лошади должны разбиться вдребезги, или эти лошади взбесились и дошли до такого исступления, что с ними не справится никакая сила, и что ямщик в ужасе опустил руки и обомлел.

Чем все это кончится?

Не раньше как на пятнадцатой версте проезжающий, наконец, узнает, что такое с ним случилось: оказывается, что ни ямщик, ни лошади не впадали в иступленное состояние, не бесновались, а делали свое дело так, как следует его делать по сибирскому обычаю, — просто *ехали* «на сибирский манер». На пятнадцатой версте ямщик сразу остановит своих бешеных коней, слезет о козел, походит около повозки, покурит, поговорит. Но неопытный проезжающий, хотя и имеет случай сознать себя не погибшим, но еще решительно не в состоянии прийти в себя и получить хотя бы малейший интерес к «окружающей действительности». В пору только отдышаться и почувствовать, что в организме произошло какое-то ужаснейшее потрясение. Возможность какого-либо внимания к окружающему возникает в неопытном проезжем не ранее, как на третий, четвертый день знакомства с сибирскою ездой; все же эти первые дни проезжающий должен употреблять единственно на напряженнейшее внимание к самому себе, к собственной своей участи, к изобретению всяких средств к своему спасению. Он придумывает, как бы ему «выскочить», как бы удержаться «руками», упереться «ногами», и только тогда, когда он вполне сознает, что все его физические средства израсходованы, что изобретательные способности его исчерпаны, когда он весь встряхнут, как мешок с орехами, тогда только он может, наконец, дать волю и умственной деятельности, а следовательно, и вниманию к окружающей действительности. На третий, четвертый день,

когда принцип сибирской езды понят вполне, когда все «суставы» во всех направлениях растрясены, и когда изнеможение охватывает человека уже с головы до ног, и притом распределяется по всему организму вполне равномерно, тогда уже вступает в свои права и духовная деятельность. Еле добравшись до станционного дивана или даже до ступеньки станционного крыльца, можно уже найти в себе возможность для внимания к окружающему, к природе, людям; можно ощутить и потребность побеседовать с этими людьми.

* * *

Большинство сибирских ямщиков «мчит» проезжего, так сказать, «по привычке», по установленному для *сибирской* езды обычаю: то «дует» сломя голову, то передохнет, а потом опять дует. Да и тройка также приучена понимать, как ей поступать; ямщиком такой дрессированной тройки может быть десятилетний мальчик, и даже просто калека без ноги, лишь бы мог сидеть на козлах. Иногда, впрочем, такие ямщики оказываются весьма неудобными: какая-нибудь случайность (прохожий встал из канавы, быстро выбежала из лесу скотина, что со мной и случилось) пугает забитую дрессированную тройку, и она так же безумно бросается в сторону, в овраг, в канаву, как и безумно мчалась по дороге. У таких обученных «мастерству» ямщиков весь процесс езды идет самым шаблонным образом; кнут, покрикивание,

посвистывание, все это делается только по обычаю. Но есть действительно сибирские ямщики, ямщики-артисты, и даже не ямщики, а дирижеры, причем кнут, это – жезл капельмейстера, а тройка – оркестр. Этот артист-художник, видимо, заинтересован талантами своего оркестра, любит в одном исполнителе одно, в другом – другое, принимает их особенности к сердцу и ставит своей задачей – развить в своих любимцах все их дарования. Когда такой ямщик иной раз сойдет с козел поправить дугу, узду, расправить космы, растрепавшиеся на лбу коренной или пристяжной, он делает это так же, как нянька с детьми на прогулке: внимательно посмотрит в лицо ребенка, поправит волосы, пообдернет платье и шапочку также поправит. И лошади у того ямщика смотрят на него как дети на няньку, знают, что он их «прихорашивает», а не подошел к «рылу» за тем, чтобы доказать, что он заметил вредные идеи и что кулак у него то же, что «недреманное око». В езде такого ямщика вы постоянно примечаете стремление превратить скучное ремесло в дело любимое и интересное. Кнут, и свист, и речь, которыми он располагает для возбуждения в тройке разных мотивов езды, только знаки, понятные умному и понимающему дирижера оркестру.

Говоря об особенностях сибирской езды, никоим образом нельзя не обратить внимания на роль, которую играет в этой езде именно ямщицкий *свист*. Свист вообще, это – знак, сигнал, тон, который ямщик дает лошади, вызывая в ней известное настроение. Но при огромных сибирских расстоя-

ниях, при пустынности мест, свист, очевидно, помогал и в других дорожных случайностях: в темную, осеннюю, дождливую ночь или зимнюю вьюгу, с одного конца обоза надо дать знать по всей линии повозок о том, что на дороге ухаб или что, по случаю грязи, передовой своротил с дороги, едет лугом, лесом. Мало того, что надобно дать знать по всей линии, – надобно еще и ответ получить от всех ямщиков всех повозок, растянувшихся за передовиком, надо убедиться, что каждый слышал и понял предостережение. Мне пришлось в течение шести темных августовских ночей ехать в одной партии с семью повозками почты. Я старался не отставать от почты, иначе один не решился бы ехать в темную ночь. И тут я убедился, до какого совершенства разработана эта ямщицкая специальность. В разных случаях передовик дает пронзительные свистки самого разнообразного качества, и такими же разными в разных случаях и разными по разнообразию выдумок каждого ямщика ответами откликаются на каждый случай и все ямщики по всей линии. Непрерывно идет над всем поездом какое-то адское беснование звуков, и когда по обыкновению, въезжая в деревню, поезд начинает мчаться уже в совершенном бешенстве, адские, беснующиеся звуки достигают одуряющей дикости.

Не одни, однакож, ямщики разрабатывали это сигнальное дело пустынных пространств. Немало поработал для его развития и «лихой человек», грабитель, разбойник и душегуб. Дать знать в темную ночь *своим*, засевшим под мостом, това-

рищам, что идет обоз или что приближается подкарауливаемый прохожий, нельзя иначе, как посредством только этого знака. Выстрел мало того что может быть замечен на том пункте, где мелькнет огонь, но он и заглохнет, щелкнет как орех в щипцах, иссякнет в этом огромном пространстве пустыря или в душной глуши тайги. Нужен звук, – может слышать его и проезжий, но ему не сумеет уловить места, откуда он идет. И вот выработался разбойничий, могучий, грозный, даже просто ужасающий, беспощадный и немилосердно жестокий свист. Один ямщик, может быть сам человек «бывалый», поистине потряс меня таким разбойничьим свистом. Он начинал его, скосив и сжав челюсти, какими-то сложными звуками, в которых жалобная, унылая нота как бы умирающего человека вилась между какими-то ухарскими, резкими, беспощадными звуками; все эти звуки первое мгновение слышались тихо, хоть и все разом, но тотчас же, как развертывается змея или, еще лучше, кнут палача, – развертывался и свист в огромном пространстве, вверху где-то, именно как свистящий, длинный, толстый кнут палача, режущий своим острым концом воздух и вот-вот готовый вонзиться в живое тело, которое жалобно-жалобно, из всех остатков сил, вопиет, как ребенок, и ждет смертельного удара. Этот, очевидно, выработанный грабителем и душегубом свист, свист, в котором слышна горячая, только что удалым манером пролитая кровь, так ощутительно отозвался именно в коже моего тела, что я «Христом-богом» просил ямщика не свистать, когда

он попробовал было развернуть кнут палача еще раз. Ямщик понял, что я «испугался», улыбнулся и был, очевидно, доволен, что произвел именно то впечатление, какое и требуется. Проезжий купец с деньгами в мешке, услышав такой свист, замрет на месте и сам отдастся в руки.

XV. Кольванские, каинские, тюкалинские и других мест бродяги и темные люди

Кроме однообразия дальней дороги и удручающего впечатления пустынных, мало оживленных пространств, побуждающих даже и любознательных путешественников поскорее выбраться на белый свет, к «вокзалу», – не веселит также и безлюдье самой дороги. Только в торговые, ярмарочные месяцы оживает она; в остальное же время года, особенно летом, она до чрезвычайности пустынна. Товары и арестанты идут в Сибирь пароходами, и поэтому весь тракт не оживлен движением. В десять дней, я не знаю, встретил ли я десять встречных проезжих, кроме, конечно, почты, изредка небольшой партии переселенцев, да кое-когда крестьян, возвращающихся или едущих с полевой работы или на работу, да и то только по близости сел. Но иногда целый день не встретишь ни единого, более или менее «благообразного», проезжего, но зато прохожего, и притом всегда «неблагообразного», встречаешь почти на каждом шагу.

Бродяга, человек подозрительного вида, постоянно останавливает ваше внимание и заставляет подумывать о чем-то, не похожем на размышления о красотах природы. На эти мысли наводят и другие иллюстрации «тракта», находивши-

еся в связи с размышлениями об этих таинственных прохожих. Вот у самой дороги стоит почему-то крест, новый, только что поставленный. Такие кресты ставятся над могилами. И точно, ямщик объяснит вам, что здесь зарезали недавно двух торговцев. А под другим, уже почерневшим, но все-таки недавно поставленным крестом лежит убитый торговец огурцами, возвращавшийся с ярмарки года полтора тому назад.

– Что, у вас там не пристукивают? – лениво спросил меня, записывая подорожную, станционный смотритель на какой-то станции. Спросил вяло, сонно, от нечего делать.

– Не слышать, – сказал я. – А здесь разве бывает?

Флегматик-смотритель предпочел сначала окончить запись, а потом не спеша ответил:

– Третьего дня прикокнули одну женщину... С вас восемьдесят пять, да за повозку... Прикокнули бабенку какую-то!

Правда, не слышно, чтобы бродяга-грабитель очень был охоч до проезжающего, но тем не менее грабитель, во всех видах, орудует во всех пунктах этого тракта самым развязным манером и делает свое грабительское дело в самых широких размерах. Пересматривая корреспонденцию в одну только «Сибирскую газету» настоящего года, мы среди мелких известий о самых мельчайших местных неурядицах и дрязгах, кроме таких же корреспонденций о грабежах и всякого рода воровских проделках бродяжного человека, нахо-

дим еще отдельные, специальные статьи, посвященные этому же воровскому делу, как бы обзоры воровского мастерства за известные периоды времени; да и самое количество кратких известий и кратких корреспонденций о воровском деле бесконечно превосходит количество известий решительно обо всех других явлениях местной жизни. «Колыванские Рокамболи»²², «Наша небезопасность», «В осажденном положении», – такие, специально грабительству посвященные, статьи доказывают, кроме постоянных мелких известий, то, что грабительство широко и прочно разрабатывается в Сибири и в наши дни.

Чтобы познакомиться, хотя слегка, с положением воровского дела на сибирском тракте, сделаем несколько извлечений из «Сибирской газеты». Первый город от Томска *Колывань*. Только в трех номерах «Сибирской газеты» мы находим такие известия: «Из Колывани извещают, что она стала облюбованным пунктом всевозможных мошенников, откуда они распространяют свою деятельность на окрестные села и деревни. Недавно отсюда был выслан в Тюкалинск ссыльный А. Натус, действовавший в компании с другим корифеем мошеннического мира, Живаховым. В настоящее время при полиции содержатся еще двое мошенников, Третьяков и Михайлицын. Они оба (помимо разного рода мошен-

²² *Рокамболь* – герой многочисленных уголовно-авантюрных романов французского писателя Понсон дю Террайля (1829–1879); «Похождения Рокамболя» к «Воскресший Рокамболь».

ничеств) *выдавали* себя за делателей фальшивых кредитных билетов и обирали, таким образом, простоватых людей, падких до «блинков».

Самый тон этой корреспонденции дышит особенностями таких условий жизни, в которых мошенничество понимается во множестве оттенков. Здесь мошенничеством уже почитается то, что плуты *только выдавали* себя за подделывателей; они не настоящие фальшивые монетчики, и поступки их потому гнусны, что вводили в заблуждение *простоватых людей*. Простоватые же люди, желающие получить фальшивых денег, совсем даже и не порицаются, хотя, получив *настоящие* фальшивые бумажки, стали бы также надувать других «простоватых», то есть простых крестьян. Действительно, настоящие, неподдельные фальшивые монетчики поступают не так, как Михайлицын или Третьяков, а делают дело, как должно. Колыванский казначей до того уже пригляделся к фальшивой монете местного производства, что даже знает, кто какую монету делал и чья это работа. Раз как-то он недосмотрел и отправил фальшивый двугривенный в числе денег, следовавших в уплату жалованья учителям местной школы. Там рассмотрели фальшивую монету и возвратили ее казначею со сторожем.

– Да они совсем зазнались! – сказал, посмеиваясь, казначей. – Чем она хуже? Вон С – нцов делает, так у того хуже материал, да и то добрые люди берут. А эти хоть куда! Правда, красновата, но сработана чисто и уж не изогнешь!

Про С – нцова же сказано только: «Кузнец, резчик, слесарь и вообще на все руки мастер». Самое сокращение фамилии свидетельствует о том, что С – нцов может обидеться на обличителя и что вообще про него еще нельзя сказать прямо, как про Михайлицына, «мошенник». Видно, что он человек свободный, известный, но почему-то еще неприкосновенный.

Относительно одного из поименованных в известии из Колывани «мошенников» мы находим довольно подробное сообщение – о Живахове. В статье «Колыванские Рокамболи» сказано, что Живахов мещанин из ссыльных и звать его Семен Евстафьевич. Он стоял во главе целой шайки плутов, в числе которых особенно заметны: рядовой Инякин, колыванский мещанин-доброволец Петров и бывший начальник тюменско-ачинского пересыльного тракта, и теперь ссыльный, тобольский мещанин Анненков. Все они образовали собственную свою *следственную комиссию* и отправились обирать раскольническую общину, отстоящую от города в ста пятидесяти верстах. Нужно сказать, что в этой общине уже был свой грабитель, некто Никита Федоров, который давно уже «вымогал» из общины деньги всякими способами и особенно доносами губернатору и министру внутренних дел. В последнее время доносы перестали действовать, и местный плут обратился к содействию колыванской «следственной комиссии». Он приехал в Колывань, вступил в переговоры с Живаховым и пригласил его в тайгу для произ-

водства следствия над раскольниками, якобы по его доносу. Живахов тотчас же принял это предложение, преобразил себя в губернатора, Анненкова сделал чиновником особых поручений, прочих плутов понятыми и 26-го февраля настоящего (<18>88) года содрал с раскольников четыреста рублей и со всей комиссией возвратился на раскольничьих лошадях в Колывань, откуда и скрылся. Не раз он подвергался высылке из Колывани, но жил всегда поблизости в какой-нибудь деревне. Говорят, что, разыскивая его в настоящее время, полиция получила из Каинска от чиновника по крестьянским делам сведения об этом артисте, причем целый лист кругом надобно было исписать, чтобы перечислить только уголовные дела, по которым Живахов привлекается к ответственности²³.

²³ Способ производить всякого рода хищения именем начальства и в образе чиновника практикуется в Западной Сибири вообще с большим успехом. В нынешнем же году киргиз Семипалатинского уезда Джаныбеков, посланный одним казаком в степь для розыска украденных у него лошадей, *вздумал* разыграть роль чиновника, командированного генерал-губернатором для размежевания земель. Для вида он купил на базаре игрушечную саблю, крестьянский красный шарф, заменивший португеею, еще какую-то мишуру и позументы, подговорил себе в письмоводители «другого грамотного киргиза Батанова» – и пустился в путь. Кое-как был подделан открытый лист за подписью губернатора; затем в случайно попавшемся на чье-то имя «похвальном листе» было вычищено чужое имя и вставлено фальшивое имя межевого чиновника. Деятельность этой межевой партии состояла в том, что, приезжая в какое-нибудь глухое место, они начинали якобы межевать и всегда находили, что заимка богатого владельца стоит не на своем месте. С полным успехом объехали они на обывательских лошадях несколько волостей Семипалатинского уезда и перебрались в Усть-Каменогорский. Опьяненные удачей, они здесь дошли до такого нахальства, что потребова-

В числе плутов, пользовавшихся в Колывани обширной известностью, был, кроме Живахова, о котором мы только что говорили, еще некто Натус. За плутовство его *выслали* в Тюкалинск. Этот город стоит на нашем тракте, и мы временно будем там, но теперь скажем только два слова о положении воровского дела в Тюкалинске, чтобы видеть, насколько благотворно может подействовать на Натуса пребывание в Тюкалинске, а не в Колывани. Вот первое попавшееся известие: «Из Тюкалинска, от 17-го марта, нам пишут о *разграблении обоза*. На расстоянии четырех верст от города было совершено с неделю тому назад нападение на обоз, шедший из Ирбита. *Грабителей было так много, что обозчики разбежались, оставив грабителям весь обоз*». Вот легкий намек на те удобства жизни, которые может найти в Тюкалинске г. Натус. Мал золотник, да дорог, и мы, оставив разговор о Тюкалинске до его очереди, возвратимся на наш «тракт».

* * *

За Колыванью следующий город будет – *Каинск*. Самое название говорит, что именно здесь Каин убил брата свое-

ли к себе волостного начальника и письмоводителя и на этом «нарвались». После ареста оказалось, что этот «чиновник» уже давно известен как вор. Успех же его по межевой части ясно доказывает, как велика в народе нужда в правильном размежевании. (С<ибирская> г<азета> № 50).

го Авеля. И до сих пор Каиново дело процветает здесь в таких размерах, о которых мы, великороссийские жители, даже и понятия иметь не можем. Известий о каинских грабежах и грабителях – масса; но мы удовольствуемся только одной корреспонденцией, рисующей дело грабежа в течение нескольких только дней по порядку, и для нас будет совершенно достаточно, чтобы видеть, что такое творят там грабители, и чтобы прийти в неопишное изумление, узнав, что терзаемые грабителями каинцы находят возможным определять эти терзания выражением: «это еще *слава богу!*» Итак, «*слава богу*», что в Каинске происходит пока только следующее: «Жулики образовали целые летучие отряды, которые стали настоящей грозой не только беззащитных товарных обозов и беспечных каинцев, с их деревенскими соседями, но и солидно вооруженных револьверами проезжающих. В последнее время разнесся слух, что жулики хотят ограбить почту; вследствие чего, 18-го февраля, начальник конторы обратился к полиции с просьбой отрядить конвой для охраны почт. К марту месяцу в Каинске уже увеличено число караульных, установлены постоянные ночные разъезды полицейских, причем в помощь последним на ночь дается несколько солдат. По тракту, в обе стороны от Каинска, по распоряжению губернатора, устроены объезды караульных, которых выставляют крестьяне окрестных деревень. Единственная деревня, которая *упорно*, несмотря ни на какие настояния начальства, *отказалась* поставлять караульных, это

д. Осиновка, находящаяся в самом близком расстоянии от Каинска, и притом, по некоторым причинам, разграбляемая жуликами беспрерывно, беспощадно, без всякого снисхождения. Причина этой особенной ненависти такая: один из жуликов приехал прошлой зимой в Осиновку на лошади, которая была в этой же Осиновке украдена у татарина²⁴. Лошадь узнали, отняли и жулика повезли в город. Повез его тот самый сотский, у которого украдена была пара лошадей. Жулик дорогой вызвался за три рубля указать сотскому место, где находятся его лошади, и когда его через три дня выпустили, он не замедлил явиться с товарищами к сотскому в Осиновку за тремя рублями. Но сотский по данному жуликом адресу, нашел только одну лошадь и не захотел платить трех рублей. Жулики стали требовать, но сторону сотского принял народ, и их избили. С тех пор организованные каинские шайки ни на одну минуту не оставляют осиновцев в покое и грозят сжечь». В «Сибирской газете» я нашел описание целого ряда подвигов этих шаек, в течение только нескольких дней февраля нынешнего года.

Грабежей, совершенно беззастенчивых, бесцеремонных, совершаемых открыто, среди бела дня, такое множество, что в этом письме нет возможности перечислить их. Положительно нет конца и краю. И при всем том несчастные ограбляемые жители (иной раз и сами принимающие участие в

²⁴ Почти одновременно с этой кражей была украдена у сотского этого же села пара лошадей с повозкой и кошовка у почтосодержателя.

грабежах, по охоте) находят возможным, рассуждая о тех разбойствах, которые читатель только что узнал, говорить такие слова:

– Теперь еще что! Теперь еще слава богу! – говорят каинцы. – Теперь стоят морозы, холод. Лапотешек и одежонки у жулья нет, многие так, *без дела* и сидят в кутузке. А вот тепло-то пойдет, тогда этих мастеров столько выползет, что и житья не станет!

– Но ведь есть на это жулье полицейская расправа? – возражает слушатель, удивленный этим «слава богу».

На это знатоки местной жизни отвечают только улыбками.

– Ну, подержат их, – говорят эти опытные люди, – двое-трое суток при полиции, да и выпустят. А жулик вышел и тотчас грозитя *припомнить*.

Вот почему, между прочим, не решались выставить караул и осиновцы.

Не знаю, продолжать ли мне хронику этих разбоев по всему тракту? Поистине, фактов неисчислимое количество, и притом повсюду, во в особенности в Западной Сибири. В Тюкалинске, например, делалось, до недавнего увольнения всего тюремного начальства, следующее. Один богатый торговец, желая отомстить другому, также богатому торговцу, обвинил его в том, что он, подкупив погонщика его скота, купил у него двести пятьдесят штук баранов. Погонщик (ссылный) подтвердил это ложное обвинение под присягой, и богатый человек был заключен в тюрьму. Вероятно, враг

его так хорошо платил за это, что никакие просьбы и ходатайства не действовали. Попав в тюрьму, он, как богатый человек, подвергся нападению арестантов, которые требовали с него 150 р. и грозили убить. Едва-едва он занял сколько-то денег у знакомых мещан. Никакие жалобы на опасное положение свое среди подлинных грабителей не получали удовлетворения. Это тянулось до тех пор (с 26-го декабря по 16-е января), пока родной отец заключенного не поехал лично жаловаться тобольскому губернатору. Все эти деятели, совершенно одинаковые в своих поступках с арестантами, теперь уже уволены. И чем дальше в глушь, тем весь этот тюремный народ (и караульные и арестанты одинаково) делается все развязнее и бесцеремоннее в обращении с местными жителями. «По дороге из Тюмени в Туринск (читаем в № 20) на каждой станции, от нечего делать, ссыльные кутят, играют в карты; где происходит дневка – деморализация сильнее; в крестьянстве нарождается повадка пользоваться тем, что лежит плохо. Все это отражается и на конвойных солдатах, которые чувствуют себя здесь, как и арестанты, «свободно и развязно». Завидев партию, крестьяне предпочитают сворачивать с дороги, особенно женщины, с которыми и солдаты и арестанты позволяют себе всякие бесчинства». Вообще преступники, то есть бродячий, мошенничающий народ, ведут себя в Сибири вполне свободно. Его только пересылают с места на место или на время сажают в темную, откуда опять скоро выпускают на свободу. Арест и пересыл-

ка – это только антракты в несколько дней, для перехода из одного места в другое, а большую часть антракты между одним мошенничеством и другим. В статье «Наша безопасность» (из Верховенска) пишут: «Недавно один из местных жителей наткнулся на грабеж и тотчас уведомил полицию». Жулики, «при своем аресте, в присутствии полицейского начальства, стали угрожать ограбить в самом скором времени указавшего на них и даже убить его, что они неоднократно подтверждали даже в кабаках, *куда ходили из тюрьмы, уже содержась под стражею*». Полиция обещала принять меры, однакож упомянутый обыватель был-таки ограблен начисто. «Замечательно, что все это происходило (взлом окна) засветло, в двадцати шагах от полиции». Паника, которую вызвали открытые грабежи, до того овладела жителями, что они решительно отказываются от всякой защиты и обороны... Несколько человек, днем, толстыми поленьями бьют *кого-то* на улице, шагах в шестидесяти от волостного правления, и на ужасающий, пронзительный крик жертвы, раздававшийся более двадцати минут, сельский обход явился уже тогда, когда разбойников и след простыл. К утру следующего дня несчастный умер. Боясь угроз жуликов, волостное правление, при котором они содержатся «в каталажке», дает им полную свободу. Недавно три арестанта, обвиненные в грабеже, *пользуясь полною свободою* разгуливать по улицам Верховенска, ограбили мещанина Яковлева. А потом, конечно, воротились в «каталажку» – делить награбленное. Факты

один за другим, и всё в том же самом роде, – без числа. Об одних конокрадах, широко разработавших свое дело, можно бы было написать целый трактат. Начальство, к которому обращаются за защитой, советует обращаться непосредственно к ворам и с ними входить в сделку. И это действительно единственный исход.

XVI. Ссылные поселенцы

Нет никакого сомнения, что ежегодный прилив таких же бродяжных и темных людей целыми тысячами, ежегодное увеличение тысячами уже существующих сотен тысяч такого же народа, – нет сомнения, что такое ненормальное, противообщественное явление наносит народонаселению Западной Сибири коренной, глубокий вред во всех отношениях. Поистине, нельзя не дивиться, по каким резонам сотням тысяч этих людей не выработано никакого определенного положения.

Мольбы сибирских жителей и сибирского начальства о прекращении или по крайней мере о приведении дела ссылки в какой-нибудь порядок идут из всех городов Сибири с незапамятных времен. «Почти *все* города Тобольской губернии, администрация Тобольской и Томской губерний и генерал-губернатор Западной Сибири неоднократно, самым решительным и категорическим образом, высказывались против ссылки. Уже *десять* лет тому назад ген. – губернатор Западной Сибири заявлял высшему начальству о *переполнении* ссылными городов». Но до сих пор дело стоит так, как было с незапамятных времен, и внутренняя Россия ежегодно поставляет в города и села Западной Сибири тысячи такого сорта людей, которым она не может позволить жить в городах и селах Европейской России. Что бы сказали моск-

вичи, если бы все московские жулики и всякие темные люди, ежедневно и еженощно забираемые в многочисленные кутузки, были бы водворяемы на жительство среди обывателей, то есть были бы *высылаемы* из кутузок и острогов на поселение в обществе, среди людей добропорядочного образа жизни? Никому и в голову не может прийти, чтобы можно было, в каких бы то ни было видах, делать что-либо подобное, а между тем все это делается над Сибирью уже «около *трех веков*»²⁵, а когда и как прекратится это непостижимое дело – решительно неизвестно.

Года два тому назад в печати прошел слух, что «решено избавить Сибирь от этого проклятия». Но из дальнейших разъяснений этого слуха оказалось, что речь идет о прекращении *ссылки по суду*; ссылка же административным порядком, *по приговорам обществ*, будет только изменена в некотором отношении. Между тем именно ссылка по приговорам обществ, административным порядком, тяготеет *исключительно над Западной Сибирью*. Все ссыльные разделяются на пять категорий: 1) *каторжные*, из которых в тюрьмах Западной Сибири остаются только дряхлые старики, не могущие следовать пешим этапным порядком, холостые, оставляемые *иногда* в тобольской каторжной тюрьме, да осужденные в крепостные работы (оставляются в усть-каменогорском каторжном отделении); 2) *ссылнопоселенцы*, которые почти

²⁵ «Сибирская» газета», № 3.

все направляются в Восточную Сибирь²⁶; 3) *ссылаемые на жительство* по приговорам судебных мест распределяются по Западной и Восточной Сибири, соображаясь с судебным решением; 4) *водворяемые рабочие-бродяги* все направляются в Восточную Сибирь, и, наконец, 5) *ссылаемые* в административном порядке. Эта категория сама уже распадается на две группы: а) *ссылные по распоряжению правительства* водворяются, по тому же распоряжению, и в Восточной и в Западной Сибири, и б) *ссылные по приговорам обществ* – водворяются *исключительно в одной Западной Сибири*.

Не думайте, чтобы «общества» уступали судам и администрации в количестве высылаемых ими вредных элементов. С 1827 года по 1846 год, как мы уже знаем²⁷, в распоряжение Тюменского приказа препровождено было 159 755 человек. Из них *по суду* сослано уголовных 49 %, а административных 51 %. В десятилетие 1867–76 годов сослано 151 585 чел., причем *по суду* сослано в Западную Сибирь семь тысяч, а административным порядком 78 с половиною тысяч. Далее, в течение семи лет (1870–77 г.) сослано было 114 370 чел., из них административных было – 63 442 чел. Наконец, из последнего отчета инспектора Тюменско-Ачинского тракта (1880–1886), то есть за шесть уже лет, выслано 120 065 чел., причем административных 64 513 чел., а по суду 55 552 чел.

²⁶ В силу высочайше утвржденногo мнения государственнагo совета 15-го июня 1859 года.

²⁷ Том III, стр. 247. (См. стр. 251 этого тома.)

Таким образом, с каждым годом наплыв в Западную Сибирь людей, ссылаемых, так сказать, «*по вкусу*» сельских обществ, принимает все более и более непропорциональные размеры, сравнительно с количеством ссыльных *по суду*. Не знаю, есть ли где-нибудь в свете что-нибудь подобное этому своеобразному сорту виноватых людей, которых нельзя предать суду, но сослать можно? Там, где и извозчик платит штраф, если он нарушит постановление, воспрещающее вылезать из саней и топтаться на тротуаре, когда нет десяти градусов мороза, там ссылаются сотни тысяч людей, не подлежащих никакому точному обвинению в каком-либо явном нарушении закона. Сколько мне известно, о людях этого типа *виноватых* мы в нашей литературе не имеем никаких сведений. Нет никакого сомнения, что сельские общества не часто могут ошибаться в своих постановлениях. Конокрады, например, как подлинные враги хозяйства, даже прямо убиваются обществами насмерть, и для людей такого сорта ссылка по приговору общества может почитаться еще милосердием и снисхождением. Но кто же не знает значения так называемого *воротилы* в наших сельских и городских самоуправлениях? Нет ли в этих сотнях тысяч по приговорам сосланных людей и таких, которые сосланы миром, обществом единственно вследствие железных пут, которыми воротила закабалил все сельское общество? Да и вообще, в чем собственно выражаются *вкусы* относительно ссылаемых лиц тех ссылателей, которые находят невозможным

или неудовлетворительным простое предание «вредных им» лиц суду и следствию? По суду ссылается (1867–76 г.) только семь тысяч, а «по вкусу» – *семьдесят восемь тысяч*. Чего же смотрит суд-то? – могут сказать на это.

Господин Бунаков попадает в Сибирь после того, как он сам привез на вокзал свою мертвую любовницу в мешке, то есть уж окончательно не мог притворяться долее человеком религиозного направления и почетным гражданином; теперь только на суде можно будет знать подробно всю его пятидесятилетнюю биографию. Почему же он мог так долго не быть высланным «по общественному приговору», если вся его деятельность была противозаконна и когда, на глазах общества, он был виноват постоянно и на каждом шагу: он взял у крестьян деньги на покупку для них земли и купил ее на свое имя, причем государственные и земские платежи платили за него те, у кого он обманом оттягал землю; пожертвовав из этих земель триста дес<ятин> на школу, он получил почетное гражданство в то самое время, когда сидел в тюрьме за покушение на убийство; совершая явно, «на глазах всего общества», все эти явно незаконные деяния, он мог быть председателем земской управы. Кого же «общества» ссылают, если Бунаковы могут быть председателями? Точно ли уж так чиста «общественная совесть», что ей в течение десяти лет опротивело целых восемьдесят тысяч человек, тогда как за то же время законный суд мог набрать только семь тысяч виноватых? Неужели же суд, еле-еле наловив семь тысяч,

проглядел восемьдесят тысяч таких молодцов, с которыми ничего нельзя поделаться иначе, как сослать в Сибирь?

Явление, как видите, весьма многосложное и достойное внимания, но пока нет речи даже и об его выяснении. Каждый год в Западную Сибирь прибывают тысячи ссыльных, на которых рассердилось «общество», и покоя не дают коренным обывателям Западной Сибири. Битком набили ее, бедную, этим бесприютным народом. Необходимо принять во внимание, что Западная Сибирь не вся подвержена этому бедствию. Степное генерал-губернаторство освобождено от водворения ссыльных; исключен из числа мест ссылки также весь Алтайский округ, то есть больше половины всей Томской губернии, кроме того, ссыльные почти не водворяются в Березовском и Сургутском округах Тобольской губернии, тогда как при общей площади губернии в 26 749 кв. миль на эти округа приходится 18 375 кв. миль. Остаются, таким образом, для приселения ссыльных третья часть Тобольской губернии и менее половины Томской. В этих местностях можно по закону водворять ссыльных только там, где надел не ниже 18 десятин на душу²⁸, и притом в такой пропорции, чтобы численность ссыльных не превышала 1/5 численности коренного населения. Этот до сих пор суще-

²⁸ То есть 15 десятин на душу местного жителя и 3 десятины на случай приселения ссыльного; пять домохозяйств отделяют в его пользу по 3 десятины и образуют ему такой же, как и у них, 15-десятинный надел. Все эти сведения заимствованы из специальной статьи о ссылке в № 8 «Сибирской газеты», 1888.

ствующий закон давным-давно нарушен во всех отношениях. Генерал-губернатор Казнаков (1881 г.), в виду крайности, допустил приселение в размере 1/3 сравнительно с количеством коренных жителей, и все-таки переселение превзошло и эту норму. Таких волостей, в которых по вышеупомянутому закону (18 д<есятин>) можно водворять ссыльных, во всей Тобольской губ<ернии> считается 110, коренное население которых составляет до 262 000 душ. По закону, одна пятая будет равна 50 тысячам человек с сотнями, но по 1887 год сюда водворено уже 72 082 д<уши>, то есть более против нормы на 19 684 д<уши>. В Тюкалинском уезде (в том самом, где грабителей напало на обоз *так много*, что ямщики разбежались) на 46 000 душ числится 16 639, то есть уже более даже и 1/3.

И в то же время в эти, по всем законам и нормам не подлежащие уже для приселения, места ежегодно вливался ссылаемый «по вкусу, а не по суду» народ все в большем и большем количестве: в 1875 году количество ссыльных было 4500, а в 1886 году – 6777, в настоящее время, наверное, уже вдвое.

Вполне соглашаясь с тем, что такой народ – великое зло для ни в чем не повинного и трудящегося крестьянства, читатель, может быть, в то же время не решится все-таки не принять во внимание, что какой бы там ни был этот сорт ссыльного, а он все-таки, получая землю, превращается также в крестьянина, населяет землю и, следовательно,

оживляет пустынные места. Так должен думать читатель, который не привык входить в подробности, а привык быть довольным, если *мы* вообще, как бы там ни было, расширяемся и умножаемся. Но – увы! – даже и такие мечтания патриота-читателя окажутся не имеющими ни малейшего основания... если только он войдет в подробности дела. Если какое бы то ни было сельское «общество» имеет право выгнать от себя «вредного члена», то точно такое же право имеет и то сельское общество, в которое этого вредного члена желают водворить. Как русское, так и сибирское общества пользуются одним и тем же правом – высылки человека, который им не по вкусу. Мне передавали лица, близко знакомые с делом, что учреждения по крестьянским делам в Тобольске и Томске завалены ходатайствами сельских обществ Западной Сибири о выселении этих незваных-непрощенных людей. Если такие ходатайства удовлетворяются в Европейской России, то они должны удовлетворяться и в Западной Сибири, и вследствие этого на земле действительно остается только 5 % ссыльного люда, – все же остальное количество образует огромное бродяжное полчище и массу рабочих рук, покупаемых сибирским предпринимателем за такие цены, какие ему вздумается дать, «во всяком случае дешевле пареной репы».

Кроме самого законного желания не иметь в своем обществе вредных элементов, на чем основана уверенность, что крестьяне-старожилы, коренные жители мест, обработанных

трудами целых поколений, будут охотно раздавать из своих земель участки для каких-то темных людей, ссылаемых, то есть, очевидно, ненужных там, где они были? Ведь те же общества, за одно только причисление к своему составу *переселенцев*, людей вовсе не темного сорта, брали по пятидесяти рублей с семьи, и только тогда, когда у них самих земли было более чем достаточно! Почему же они будут покоряться какой-то непонятной необходимости – собственными руками устраивать собственное свое расстройство, отдавать свою землю даром такому постороннему, пришлому лицу, которое оказалось негодным для общества таких же крестьян и хозяйственных людей, как они сами? Нетрудно представить то «внимание» сибирских обществ, которое они могут оказывать выброшенным, оставленным без внимания обществами крестьянства Европейской России. Стоит на минуту представить себя среди такой недружелюбной среды, чтобы уйти куда глаза глядят от этого «надела», который надо отрывать у пяти человек, то есть нажить прямо пять самых задушевных врагов. Не уйди сосланный «по вкусу» добровольно на заработки в город, его водворят приговором, и вот, хотя по бумагам и числится, что «водворено» множество народа, но на деле это несметное множество только «выдворено» из всех пространств Европейской и Азиатской России. В то же время такое положение человека, который оказался ненужным, во-первых, обществу российскому, во-вторых, обществу сибирскому, в-третьих, не подлежащим суду,

в-четвертых, не имеющим права даже на тюрьму и паек, – такое положение прямо обязывает его стать на нейтральную почву, то есть жить вне общества, вне тюрьмы, вне суда. Каждый год строить новые тюрьмы на 7000 человек – дело невозможное; в пору только в существующих «каталажках» дать время «погреться» нейтральному человеку, и то не больше трех дней, потому что нехватает мест для всех, достойных «каталажки». Вот почему Колывань ссылает свои вредные элементы в Тюкалинск, а взамен этого подарка получает все тюкалинские вредные элементы, с прибавкою каинских, которыми и спешит опять обменяться с своими добрыми соседями. Тюрьма не может поглотить этого рода ссыльных, и эти выброшенные жизнью «в пространство» десятки тысяч людей, запутавшихся в бесчисленных грехах с голода и холода, наполняют фабрики, заводы и гибнут на приисках. Но известная часть их предпочитает пользоваться своим положением иным способом, налагая на местных обывателей своего рода ясак: срезывает тюки и короба с товарами и заставляет выкупать их у себя, ворует лошадей, и тоже заставляет выкупать у себя же, словом, проделывает все, что выработала долголетняя бродячая жизнь.

XVII. Опять «прискорбное недоразумение» и... конец путешествию!

Незаметно, потихоньку и помаленьку, накапливалось на душе много тяжелых и скорбных впечатлений о виденном, слышанном и читанном в короткое время поездки, и сибирская жизнь, едва мелькнувшая перед моими глазами, с каждой минутой, приближавшей поездку к концу, все ярче и ярче выяснялась во всех ее многочисленных и многосложных особенностях. Хотелось бы воротиться, пожить подольше, побольше видеть, и хотелось этого особенно тогда, когда беженая тройка, несмотря на непроходимую грязь, лужи, похожие на озера, мчала меня уже к Тюмени, затем и по Тюмени, и примчала на вокзал. Огоньки переселенческих барачков, мелькнувшие в стороне дороги, среди непроницаемого мрака темного августовского позднего вечера, еще сильнее взяли за живое и увеличили огорчение разлуки со всем «страждущим и обремененным», – что и есть «главное и особенное» в сибирской жизни. Томила меня тоска – о невозможности когда-нибудь еще раз видеть «сибирскую жизнь» – и на железной дороге, возбуждая желание, чтобы поезд не так быстро мчал назад, не так безжалостно отрывал от только что воспринятых впечатлений. Не знаю, в каком настро-

ении доехал бы я до центра отечества, если бы отечественная жизнь не изобиловала так называемыми «прискорбными недоразумениями», одно из которых и не замедлило совершиться.

Когда уже было, совсем темно, равномерный шум в глубоких водах реки Камы паровых колес и машины вдруг превратился в какую-то шумную сутолоку: послышались пронзительные свистки, паровоз закачал, вода заплескала в окна, и, наконец, весь корпус паровоза потрясло до основания. Очевидно, он крепко ударился во что-то и стал.

– Конкуренция! Очень просто! – говорил тоном знатока какой-то из пассажиров, когда все, бывшие на паровозе, толкая и давя друг друга, всею массой высыпали на верхнюю палубу.

Тьма была глубокая.

– Ему, подлецу, дают свистком сигнал: «помоги!», а он ишь прет, ухом не ведет! – говорит еще кто-то, но кто, разобрать нельзя. – Чем бы помочь нам...

«Он» был чей-то паровоз, который, во-первых, наскочил на наш, не предупредив никакими знаками, и, во-вторых, шел, не обращая на нас никакого внимания. Баржа его едва не разбила корму нашего паровоза.

– Это что вы изволите говорить? Чтобы, то есть, он помог нам?

– Да! Я говорю, ему, подлецу, свистят, «помоги!», а он...

– А он и ухом не ведет?

– Видите, прет, точно не слышит!

– А вы желаете, чтобы вам помог, конкурент-то?

– Конечно, должен помочь!

Не дав договорить фразы, невидимый возражатель раскатался самым отчаянным смехом.

– Помог? конкурент-то? Ха-ха-ха!.. Боже мой милосердный! Это чтобы конкурент-то помог?.. Ха-ха-ха!.. Просто отчихаться не могу, что вы сказали!

Этот смехотвор действительно и хохотал, и кашлял, и чихал. С хохотом и чиханьем он, оттесненный толпой от собеседника, не преминул, однакож, прокричать ему откуда-то из дальнего угла:

– Вот, если бы вы пожелали, чтобы вас с пароходом ко дну пустить или, например, пополам рассадить пароход, вот это бы он «с удовольствием!» Сделайте одолжение!.. А вы желаете, чтобы помог? спас? конкурент-то?.. Конкурент чтобы спас, да? Чтобы дьявол вам слюбезничал? сатана-то чтобы подобрел? Уж это напрасно! Не такие времена!.. Рассадить, утопить – так! А то, чтобы...

Скоро совсем не стало слышно его речи, хотя его хохот и чиханье опять слышались откуда-то долгое время. Его болтовня развеселила публику, да и я чувствовал себя очень хорошо, потому что ясно видел, что мы застряли на весьма продолжительное время. Пароход так солидно врезался в берег носом, что верхняя палуба его была заметно поката. Куда мы врезались, за темнотою нельзя было разобрать, но с бере-

га уже доносились человеческие голоса; слышались слова и речи, исполненные «меда и дегтя» по отношению к пароходу «вообще» и в особенности недоброжелательные к пароходному начальству.

– Вот так ловко воткнулся! Посиди, погуляй тут у нас с недельку!

– Так вас и надо, мошенников! Только с нас дерете! А-а-а! воткнулся! – орал в глубокой тьме, очевидно, чей-то пьяный голос.

– Капитан! – зевал кто-то зверским хрипом. – Деньги отдай, слышь? Протокол составлю!

– За что деньги? – спрашивал кто-то из пассажиров.

– У меня плот на этом месте стоял, двести дерев! За что! Я вас проберу! Капитан, выходи! Деньги отдавай!

– Прр-ткол на них, подлецов!

Такие недружеские отношения берега к пароходу производили далеко неблагоприятное впечатление и отнюдь не сулили скорого избавления от беды, и я видел, что благодаря участию судьбы я имею время не вдруг попасть в «срединные места».

– Чего так орете? – сказал, наконец, капитан невидимым существам. – Какие плоты? Что врешь, осел? Сколько вас там? Берите по рублю на человека, идите работать!

– Ребята! Слышь, по рублю!

В темноте слышно шлепанье по грязи множества босых ног.

– Ру-у-у-б-лю! – в кулак гудит кто-то.

– Ау!

И как бы с горы шлепаются звонко и плотно в грязь эти босые ноги. «Рубль», очевидно, действует.

– Живей, живей! – понукал капитан.

Скоро засветился на берегу фонарь, очертились облики каких-то темных фигур.

– Водочки по стаканчику, ваше благородие! В холодную воду лезть надо!

Скоро появилась и водка; враждебного тона как не бывало. Деготь кончился, начался мед.

– Благодарим покорно! Дай бог вам!

– Ну ладно, ладно, живей! Шевелись!

На берегу появились еще фонари; босые люди в рваных рубахах и штанах полезли в холодную воду. В руках у них были какие-то жерди, которые, сравнительно с огромными размерами обнаружившейся, благодаря мели, носовой части парохода, казались просто зубочистками. Нельзя было и мысли допустить, чтобы эти зубочистки могли совершить что-нибудь путное с этой массой железа, которая плотно, со всего разбега, была втиснута в крутой берег из цепкой, железистой глины. Решив, что с этими зубочистками микроскопические фигурки рабочих не совершат ничего путного, я ушел в свою каюту и предпочел лечь спать. Крики, «охи» и все те разнороднейшие звуки, облегчающие тяжелый народный труд, доносившиеся в круглое открытое окно, нима-

ло не беспокоили меня. Я начинал уже дремать, когда пароход вдруг шевельнулся, осел в воду и поплыл. И тотчас же с берега понеслись опять самые несимпатичные для парохода слова:

- Стой! отдай деньги!
- Деньги отдай! Дьяволы этакие!
- Ребята, уходит! Не пущай!
- Садись в лодку!
- Протокол! Стой!
- Гони, ребята! Уйдет!

Но пароход не ушел. В то же круглое окно очень скоро послышались опять медовые речи. Мужики, подплывшие на лодке, вероятно полностью получили деньги.

- Благодарим покорно!
- Дай бог, вашскобродие, много лет!
- Счастливо!
- Дай вам господи!

И пароход понесся еще быстрее прежнего, стараясь наверстать «опоздание», да и месяц к тому же выглянул откуда-то крошечную точкой света.

«Нет, – подумал я, – мчит-таки в страну севера!» И с этой минуты мысли мои невольно также пошли в «обратный путь», к интересам жизни уже «невиноватой Руси».

2. От Оренбурга до Уфы. 1890 г

I. «Башкир пропадает»

– Пропадет башкир! Пропадет! Беспременно пропадет этот самый башкир!

Вот одна из тех особенностей, характеризующих современное положение Оренбургского края, о которой, прежде всего другого, всесословная молва встречных людей всякого звания, как говорится, «прожужжит уши» всякому, незнакомому с этим любопытнейшим краем, раз этот пришелец пожелает что-нибудь разузнать о нем.

Гибель башкира, начатая хищником побольше сотни лет тому назад и уже на нашем веку выразившаяся в самых бесстыдных размерах и приемах, не требует подробного изложения, во-первых, потому, что оно не исчерпано даже и в двух томах добросовестнейшего труда Н. В. Ремезова²⁹, а во-вторых, потому, что у всякого впечатлительного русского человека позорное дело расхищения башкирских земель оста-

²⁹ Н. В. Ремезов (р. 1857); – землемер Уфимской губернии, в 1886 году выпустил книгу «Очерки из жизни дикой Башкирии», отмеченную В. И. Лениным в работе «Развитие капитализма в России» как «живое описание того, как «колонизаторы» сводили корабельные леса и превращали «очищенные» от «диких» башкир поля в «пшеничные фабрики» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 218).

вило столь неизгладимое впечатление, что никогда не забудется и без напоминания об этом позоре.

В общих чертах можно сказать только одно, что «подлог» есть первоначальник так называемой культуры Оренбургского края. Он есть то зерно, которое первым занесено из недр нашего отечества на девственную почву башкирских земель, и которое, разрастаясь тончайшими и бесчисленными нитями своих бесчисленнейших ветвей и отростков, опутав взаимные отношения людей хищнического общества, сумело прорасти и в оберегающие закон учреждения, разрослось и здесь, и переплелось отростками и ветвями в единую, темную, дремучую, как глухой темный лес, клязу.

Учреждение Дворянского и Крестьянского банков³⁰, кажется, должно приступить к расчистке этого дремучего леса. На основании незаконных, подложных документов на владение похищенной у башкир земли можно было десятки лет эксплуатировать так или иначе незаконно захвачен-

³⁰ Крестьянский поземельный банк был основан в 1882 году. Учреждение банка помогало правительству уничтожить в крестьянстве какие бы то ни было надежды на проведение земельных реформ. Увеличение наделов было возможно только при покупке крестьянами земли, банк должен давать им денежные ссуды. Операции банка были чрезвычайно затруднены для клиентов-крестьян. Невзнос в срок процентов по займу влек за собой продажу принадлежащего крестьянину участка земли и превращал его в нищего. Услугами банка с успехом пользовалась только кулацкая верхушка деревни. В 1885 году был учрежден Дворянский земельный банк, имевший целью поддержку дворянского землевладения. Он предоставлял кредит на гораздо более льготных условиях, чем Крестьянский банк (под 4,5 % вместо 6,5 %), и превышал его в 8–9 раз размерами своих операций (в 1893 году 42 млн. р. против 5 млн. р. в Крестьянском банке).

ную землю, имея дело лишь с частными лицами. Банки уже не то, что частные лица, и чтобы дать денег под залог частного имущества или же приобрести это имущество для переселенцев, банк должен иметь в руках действительно *подлинные* документы на владение. Но вот таких-то документов немало количество владельцев, повидимому, вовсе не имеет. В бытность мою в Уфе, общественное мнение было сильно взволновано делом, касавшимся именно этих подлинных документов, необходимых для представления в Дворянский банк, из которого долговременный владелец обширной земельной собственности желал получить солидных размеров ссуду. Административный совет, которому подлежит решить, *можно ли признать землю, предлагаемую в залог, выделенною из бакирских владений или нельзя?* – распался, как гласит молва, на две совершенно враждебные партии: трое стоят за невозможность утвердительного ответа, остальное же большинство упорно отстаивает владельческие права, хотя представитель межевого дела, после самого тщательного изучения всей продолжительной тяжбы владельца за свое право, со всевозможными «инстанциями», мог вывести только *предположение*, что земля «*должно быть*» или «*кажется*» принадлежит владельцу. А материалы для такого заключения – целые горы бумажной переписки за целые десятки лет!

Не подлежит никакому сомнению, что такие *неподлинные* владельческие документы замучают бесконечными и в то же

время бесплоднейшими, продолжительнейшими хлопотами новые кредитные поземельные учреждения и в особенности изнурят переселенцев ожиданием той отдаленной (вследствие канцелярской проволоочки) минуты, когда можно будет узнать, продадут им или не продадут подлежащий сомнению участок? Замучают и изнурят эти «неподлинныя документы» главным образом потому, что, во множестве случаев, они имеют формальные достоинства вполне подлинных документов.

Множество владельцев, вроде Бунакова, имеют в руках *приговоры* башкирских обществ о продаже ими участков тем или другим лицам, и такие лица имеют полное право и продавать свои владения и закладывать их без всякой опасности, что и практиковалось ими беспрепятственно до настоящей минуты. Препятствия, без всякого сомнения, были, и не один приговор оспаривался башкирами судебным порядком, а иногда и явным сопротивлением, но общее хищническое направление идей всегда умело достойным образом покарать протестующих. Напуганные этою карой, башкиры притихали на долгое время, но явная гибель, которая грозит им, по видимому, вновь возбуждает в них стремление к протесту, так как и сейчас всеобщая молва толкует о том, будто бы в высших правительственных сферах найдено необходимым начать проверку не только документов на владение явно не подлинных, но и таких, которые вполне безукоризненны в формальном отношении.

Но если бы даже башкиры и могли бы, паче чаяния, иметь какой-нибудь успех в возвращении своих владельческих прав, все-таки нельзя не видеть, что успех этот будет делом случайным и во всяком случае запоздалым. Возвратив незаконно отнятую территорию, башкир непременно должен отдать ее законным порядком, так как ему нужны деньги, так как деньги-то и испортили его.

Начал он свою погибель с семикопеечной аренды, отдавая тысячи десятин земли за тысячи копеек. Несомненно, что копейка убавила размеры его личных забот и положила начало любви к праздности; поэтому, когда вместо копеек стали предлагать башкиру рубли, он уже не мог не соблазниться ими. За долгосрочными копеечными арендами пошли рублевые купли на вечные времена. Покупки навсегда отняли у башкира огромнейшие территории его владений, и, зная теперь, что он уже не хозяин в этих владениях, он передвинулся от них подальше, на новые, девственные места. Но и тут не мог угаснуть в нем аппетит к копейке и рублю, тем более что появился новый возбудитель этого аппетита.

Прежде был хищник, теперь пришел переселенец и стал предлагать башкиру гораздо большее количество копеек за десятину земли, чем давал хищник. Хищник давал семь копеек, а переселенец семьдесят, то есть немного меньше той цены, за которую башкир не так давно решался продавать землю на вечные времена. Как не отдать в аренду и той земли, на которую башкир только что передвинулся? И отда-

ет башкир опять новые огромные территории, отдает пока только в аренду, но идут года, и приходит опять сокрушитель башкира, настигает его тот же переселенец, которому опять стало мало земли и который опять сует башкиру деньги за аренду.

Привыкнув уже к рублям, к сотням и тысячам рублей, башкир теперь, при последнем, так сказать, издыхании, стал «драть» за аренду под озимое не меньше как рубля по три, по четыре, чувствуя, что пришельцы «нуждаются» в земле, что она примыкает к арендованной или купленной ими через Крестьянский банк. Но нехватит у него, расслабленного в своих хозяйственных порядках притоком денег, то есть правом безделия, сил противустоять соблазну, который неминуемо предстанет перед ним. Переселенцы разочтут, что высокая аренда тяжела для них и что лучше и эту новую, подходящую землю прикупить. И вот опять башкир передвинется подальше в четвертый раз, и опять туда придет бородатый человек, потолковать насчет «земельки».

Велики, конечно, те пространства больших башкирских владений, куда отодвигается понемногу башкир, но велики и силы, наступающие на него, и раз он не сумел так или иначе противостать этим силам, будущность не сулит ему ничего иного, кроме оправдания пророчества и предвещаний, которые сулят башкиру новоселы.

– Пропадет башкир, пропадет! Беспременно должен пропасть этот самый башкир! – с искренним соболезновани-

ем предвещает новый житель покинутых башкиром пространств и, пожалев «пропащего» нехристя, перекрестившись, берет в руки топор.

– Ну-ко, господи благослови! – молвит он с обычным облегчающим грудь передыханием и начинает, благословясь, валить под корень первое дерево для сруба своей собственной избы на покинутой «пропащим» башкиром девственной земле.

II. Простор и безлюдье

В настоящее время весьма обстоятельно выяснено, что переселенческое движение крестьян из внутренних губерний прежде всего направилось в Оренбургский край. Жалкое и поспешное расхищение башкирских земель не может быть понято во всем объеме, если не принять во внимание, что хищник, захватывая огромные и в те времена действительно почти необитаемые пространства башкирской земли, совершал это дело с самыми определенными и очевидными целями; он знал, что необитаемые места не останутся необитаемыми и что в самом непродолжительном времени придут арендовать и покупать их несметные массы дозарезу нуждающегося в земле крестьянина.

Не подлежит также сомнению, что нуждающийся в земле человек был давно уже запримечен хищным глазом хищного человека, и хотя во времена расхищений такой человек появлялся в крае еще в самом незначительном количестве, а видом своим и нищенским попрошайничеством «Христа ради» ни в какой степени не походил ни на арендатора, ни на покупателя, — хищный глаз уже видел, что именно это нищий в самом скором времени и станет оплачивать каждую затраченную им копейку полным рублем. Могущество всякого кулака, всякое хищническое богатство всегда создается бедным, нищим человеком, и оренбургские хищники

башкирских земель не могли быть исключением из общего правила.

Мы знаем, что хищное чутье и предвидение не обманули хищников. Первая переселенческая станция была устроена как раз в преддверии Оренбургского края, в Сызрани, устроена гораздо ранее таких же станций в Тюмени и Томске. Известно также, что в первые два-три года в отчетах сызранской станции количество проследовавших через нее переселенцев значилось уже в тысячах семейств. С тех пор движение в Оренбургский край шло непрерывно и непрерывно идет по сей день; ниоткуда не было такого обилия корреспонденций и целых статей (особенно в провинциальных изданиях), касавшихся переселенческого вопроса, как именно из Оренбургского края. Казалось бы, что в настоящее время, то есть в наши дни, пустопорожние башкирские земли должны быть уже достаточно заселены переселенцами из внутренних губерний, и что пустыни постепенно превращаются в жилые и оживленные человеком места. Но в действительности, несмотря на то, что заселение идет безостановочно и особенно усилилось после учреждения Крестьянского банка, все-таки четыреста верст пути от Оренбурга до Уфы по местности, наиболее населенной переселенцами (она прилегает к большой дороге), иногда поистине очаровательной, далеко не изобилуют человеческим жильем и не часто радуют встречей с прохожим или проезжим новоселом.

Объяснение такой видимой безлюдности, при непрестан-

ном притоке переселенцев, таится в размерах арендуемой и покупаемой пришлыми крестьянами земли. Сведения об этих размерах мы находим в заметке К. Е. Сувчинского (заведующего оренбургской переселенческой станцией) «Переселенцы в Оренбургской губернии», напечатанной в настоящем 1889 году. Сведения, собранные в этой заметке, относятся к 1886 г., причем по сообщениям волостных и станичных правлений, количество переселенцев обоего пола исчислено в 109 485 душ, но г. Сувчинский, приведя эту цифру, отрицает ее подлинность и утверждает, что *действительная* цифра новоселов была к 1886 г. значительно больше, именно – от 150 до 180 тысяч. К тому же времени, из общего числа переселенцев, 73 831 душа³¹ успели уже образовать 437 хуторов, преимущественно на арендованной земле; количество же общего пространства заарендованной переселенцами земли, определенное по сведениям, доставленным из уездов Оренбургской губернии, выражается в размерах, невозможных для крестьян внутренних губерний, именно: в Троицком уезде приходится *на двор* 38 дес<ятин>, в Челябинском 28 дес<ятин>, в Орском 33, в Оренбургском 22, в Верхнеуральском 18, а в среднем выводе 26 дес<ятин> на каждый двор, причем *двор* означает известное количество *платежных, а не наличных* душ.

³¹ Относительно остальных тысяч переселенцев сказано, что они «проживают среди более богатого местного населения, большею частью в качестве работников, так как не имеют средств обзавестись самостоятельным хозяйством» (стр. 3).

Таким образом, оказывается, что крестьянский двор внутренних губерний, положим в *три* платежных души, имеет только 9 дес<ятин>, в пять душ – 15 дес<ятин>, и то в самом счастливом случае; тогда как *двор* оренбургского переселенца, в среднем выводе, имеет 26 дес<ятин>, то есть почти столько, сколько крестьянин внутренних губерний мог бы иметь на десять платежных душ, а такие семьи едва ли возможны, так как при десяти *платежных* душах *наличных* должно быть более по крайней мере в пять раз³², а таких патриархальных семей давным-давно нет в черноземной России и в помине. Следовательно, двор примерно в три платежных души имеет в Оренбургской губернии втрое более земли, чем двор крестьянина внутренних губерний, и вдвое более, чем двор, имеющий пять платежных душ.

Все эти цифры, показывающие число переселенцев, хуторов и пространства заарендованной земли, относятся, как сказано, к 1886 году. Не подлежит сомнению, что с тех пор все эти числа увеличились в значительных размерах, чему особенно помогло учреждение Крестьянского банка, который в 1886 году мог уже содействовать покупке переселенцами 5893 десятин, причем число платежных душ было 1886, имевших 321 двор, в 11 хуторах, основавшихся пока в одном из уездов губернии, именно Оренбургском.

³² В одном товариществе, купившем землю при содействии Крестьянского банка, *платежных душ* считается 50, а *наличных* – мужского пола 170 и женского 173, всего же 343 *едока*.

Приняв во внимание, что новые, после 1886 года, аренды и покупки нимало не стеснили переселенцев в размерах подворного количества земли (этому нет никаких оснований, — земли многое множество), можно будет легко понять, почему безлюдность и обширность безлюдных пространств бросается в глаза постороннему наблюдателю, прежде чем он заметит те три-четыре землянки новоселов, которым принадлежит эта огромная территория, предусмотрительно запасенная не только для наличного количества душ, но и для будущих поколений, которые несомненно будут множиться. Четыре землянки, едва приметные даже и на самом близком от них расстоянии, владея земельным наделом хотя бы только на две платежных души на каждый двор, теряются со всем своим населением далеко в немалом пространстве двухсот десятин принадлежащих им владений. Хутор в пятьдесят платежных душ владеет уже тысячами десятин, о чем в великороссийских губерниях крестьянину и во сне не приснится. Иногда владения новоселов тянутся и вширь и вдаль на несколько верст, и вообще так обширны, что всему наличному количеству жителей, вплоть до ребятишек, если бы оно сосредоточилось для работ в одном месте или разбредлось для той же цели по огромной территории, можно было бы только потеряться среди этих обширных пространств, но уж никак не оживить их, — так малочисленно население сравнительно с размерами арендуемой им земли.

В нынешнем (89) году пустыньность простора и безлюд-

ность видимых глазом земель имела, кроме обширности владений, еще и особенную причину. Три года подряд надо всем крестьянским населением Оренбургского края тяготел неурожай. Не только был съеден весь хлеб, но распродан почти весь скот, и голодовка зимы последнего года в такой степени была повсеместна и ужасна, что правительство вынуждено было на одно только пропитание голодающих израсходовать до 200 000 р.³³ «Проев» все, что можно было проесть, крестьянское население постепенно убавляло размеры посева, а в последний год сократило его до последней возможности, так как и семян было почти негде достать, все было съедено. Пережив три ужаснейших года, крестьяне и в нынешнем году пережили минуты глубокого отчаяния. Весенние морозы истребили всю рожь; за морозами начался палящий, иссушающий зной, и надо всем населением висела видимая и окончательная гибель. Но в июне и в июле хлынули дожди и все, что не почало и не было убито морозом, все ожило, и ожил упавший дух крестьянства, хотя малый посев, очевидно, не удовлетворит не только всех крестьянских нужд, не поправит огромного хозяйственного расстройтва, но едва ли будет достаточен и для домашнего обихода.

Там, где кроме бурьяна ничего не уродилось в течение трех лет, обильно уродилась огромная недоимка, и прежде

³³ Со слов крестьян, получавших пособия из этих 200 тыс.<яч>, можно сообщить, что на каждую живую душу обоего пола и до пятилетнего возраста (всего 60 т<ысяч> д<уш> выдано было по 2 р. 50 или 60 к., причем предполагалось, что денег этих должно хватить каждому, получившему пособие, на четыре месяца.

всего, конечно, Крестьянскому банку, а затем великому множеству всякого рода учреждений, которые неумолчно теребят взыскания едва-едва устроившихся в непросохших землянках новоселов. Что-то нужно получить волостному правлению, что-то требует сельское общество, к которому приписался хутор, и сквозь дебри, едва тронутые топором, проникает к землянкам уже форменный «окладной лист». И удивительное дело: какой-то невидимый для обитателей землянок гений, неведомо где пребывающий, уже с точностью определил *доходность* местности, которая едва только увидела образ человеческий и в которую до появления переселенцев ни единый живой человек не заезживал и не захаживал. А между тем невидимое существо с точностью обозначает цифру доходности, – вот она: 963 р. 81 к. Да, даже до копеек сосчитана доходность местности, в которой только что устроилось несколько землянок, и сообразно с цифрой доходности устанавливается с нее процентная сумма платежа: столько-то рублей и столько-то копеек. Вообще, в землянках новоселов уже накопилось такое количество всякого рода бумаг, которое, кажется, превосходит количество посевов, предназначенное на покрытие всяких требований, начертанных на этих бумагах. Впрочем, о внутренней жизни поселков и хуторов будет сказано ниже.

Безлюдье, таким образом, увеличилось в настоящем году вследствие крайне малых размеров запашек. Незачем ходить в поле, когда там ничего нет. Но эти пустынные местно-

сти, открывающиеся взору путника по обеим сторонам дороги, вообще так всегда хороши, живописны и так настойчиво призывают человека к привольной жизни, что впечатление «безлюдья» и «пустынности» совершенно забывается под влиянием мечтаний о приближающейся минуте полного оживления этих прекрасных мест.

Весь путь от Оренбурга до Уфы вообще производит самое приятное впечатление. Приволье, обилие сил природы – чуются даже и в сравнительно невзрачных местностях, которые минуешь по дороге. Но иногда на протяжении двух-трех перегонов, то есть сорока – пятидесяти верст, случается проезжать поистине очаровательные места, не теряющие своей прелести ни на одну минуту. Места эти большею частью самые безлюдные, почти нетронутые ни плугом, ни топором, но на каждом шагу невольно ощущаешь горячую, любовную заботу природы о том, кто непременно должен здесь жить и для которого эта любящая мать-природа приготовила пышную, роскошную встречу.

Все, что дает человеку счастье, все до мелочей, кажется, предусмотрено этой заботливой матерью, бесконечно любящей свое любимое детище – человека. Разостлала она пологие, тучные поля для посевов, а холмистые, с мягкими очертаниями, возвышенности приспособила для всего растущего, чему нужен солнечный припек; и луга, пышные и густо заросшие, придвинула к студеным ключевым речкам, иногда расширяющимся в небольшое озерцо; и как бы в охрану

всего растущего от жгучих ветров песчаных пустынь, от холодных суровых ветров из холодных пустынь севера, повсюду, там, где очевидно было «необходимо», разрастила она чудные рощицы; дуб, береза, липа, вяз – все как на подбор, все «первый сорт», все сильно, крепко, каждый лист блестит полнотою здоровых соков; но все это, «выращенное» с любовной заботой к человеку, не рвется ввысь и вширь, чтобы затмить поляне солнце или чтобы омрачить ее черными, сплошными тенями. Чудные рощицы, выращенные заботливой матерью по вершинам холмов, по краям полей, по краям узких ущелий, как заботливые няньки только лишь охраняют все, что нужно для счастья человека. Но человека этого пока не видно, хотя кажется, что он, как будто... уже тут... и притом повсюду... Вот и поет он, и девичьи хоры слышатся из-за горки и из-за рощи; и в речке плещутся и смеются ребятишки, стучит где-то топор... Материнская забота природы о благе человека, о просторе жизни его живой души до такой степени овладевает сознанием путника, что видимо безлюдные места кажутся ему наполненными кипучей, бьющей ключом жизнью.

III. Непрочность переселенческих покупок и аренд

Однако пора перестать предаваться мечтаниям, навеваемым чудными картинами природы, и ознакомиться с положением не мечтательного, а действительного обитателя и жителя этих очаровательных пустынь. В виду такой практической цели необходимо заранее оградить воображение читателя от малейшей возможности впасть в тяжкий грех мечтания о каких бы то ни было благоприятных для края перспективах. «Настоящее» для его жителей таково, что у первого же порога первой переселенческой землянки исчезает в сознании очевидца всякое представление не только о будущем вообще, но не приходит в голову и из прошедшего ничего такого, что бы могло дать хотя какое-нибудь уяснение настоящей, видимой, очевидной тяготы жизни, начинающейся за первым порогом первой землянки. У первого же порога первой землянки очевидец найдет то самое «разбитое корыто», которым с незапамятных времен и начинается и оканчивается всякая русская волшебная сказка; начинаясь в тоске и страдании, продолжаясь мечтаниями о светлом, привольном житье, она, после целого ряда бесчисленных мучений, перенесенных искателем приволья, приводит его опять-таки к горю и страданию, и перед ним — «опять разбитое корыто».

Явное, всему обществу давным-давно известное расхище-

ние башкирских земель не только не составило предмета судебного преследования, но даже и с экономической точки зрения не вызвало до настоящего времени никаких определенных мероприятий. Правда, по сведениям, собранным г. К. Е. Сувчинским, мы узнаем, что на основании высочайшего повеления от 10-го июля 1881 года получили в аренду казенную землю 1787 душ; но этот единичный благой пример не имел ничего общего с действиями местной администрации. За исключением протестов губернатора г. Щепкина и обличений сенаторской ревизии, вызвавших некоторое количество судебных преследований против нескольких единичных личностей, похищение у страны несметных земельных богатств не сделалось общим вопросом, затрагивающим экономические интересы всей страны, – и те деньги, которые уплачивались бы крестьянами в казну, уплачиваются ими хищникам, безнаказанно эксплуатирующим народную нужду.

Мы уже знаем, что из общего числа переселенцев, перечисленных к 1886 году (109 485), только 73 831 душа образовали 437 хуторов на арендованной земле, и вот какова прочность владения и оседлости этих людей на арендованных землях.

«К сожалению, – говорит г. К. Е. Сувчинский, – большинство этих поселков образовано на заарендованных землях по условиям, не имеющим силы бесспорных документов, а именно: из 437 хуторов

– 125 хут. 3211 дворов проживают по условиям, засвидетельствованным у нотариусов; 73 хут. 1933 дв. – в станичных или волостных правлениях; 41 хут. 1140 дв. – по общественным приговорам казачьих или башкирских обществ; 30 хут. 767 дв. – *по домашним условиям*; 20 хут. 347 дв. – по условиям, заключенным *у сельских старост и поселковых атаманов*; 18 хут. 219 дв. – в уездных полицейских управлениях; 2 хут. 19 дв. – *у приставов*; 3 хут. 129 дв. – с чиновниками управления государственными имуществами (хутора эти образованы на казенных землях, снятых в аренду с торгов; 1 хут. 12 дв. – в оренбургской палате уголовного и гражданского суда; 49 хут. 1143 дв. – *по словесным условиям*; 1 хут. 62 дв. – *у непременною члена*; 9 хут. 207 дв. – с управлениями отделов Оренбургского казачьего войска; 3 хут. 31 дв. – сведений не доставлено» (стр. 4).

Пересчитав тех лиц, которые без малейших сомнений в своем праве подписывали свои имена под договорами, «*к сожалению, не имеющими силы бесспорных документов*», решительно удивляешься, почему между этими лицами не попадается ни аптекарей, ни пономарей, ни зубных врачей? С другой стороны, не менее удивительным кажутся и те три случая совершенно правильной сдачи земли в аренду «с торгов», которые практиковались чиновниками министерства государственных имуществ. Удивительно это как единичный случай действий «по закону», в то время как организация крестьянского землевладения предоставлялась в пол-

ную власть сельским старостам, приставам, атаманам, полицейским чиновникам, уголовной палате, непременным членам крестьянских присутствий и даже не самим этим присутствиям. Здесь берут деньги с земледельца по «словесным условиям», «по домашним договорам», по приговорам волостных и станичных *обществ* и просто по приговорам волостных и сельских *правлений*. Повидимому, всякое учреждение, которое может приложить к бумаге какую-нибудь печать; затем всякое хищное существо, притаившееся с своими «владениями» и боящееся какого бы то ни было прикосновения к своим фальшивым бумагам этой самой «какой-нибудь печати», но все-таки умеющее нацарапать «домашний договор»; наконец, такое хищное существо, которое окончательно боится не только «печати», но вообще трепещет при одном только виде бумаги, пера и чернила, и которое способно только *словесно* уверить арендатора-крестьянина в своем владельческом праве, – все это смешение яыков решало земельный вопрос, важнейший для всей страны, по собственному своему усмотрению, вкусу, расчету и расположению духа. Ни один из решителей не имел с другим ничего общего; значение сельского старосты оказывалось равносильным значению чиновника министерства государственных имуществ. Хищник, боящийся пера, бумаги и чернил, равнялся в своих правах с уголовной палатой, нотариусом, полицейским управлением, непременным членом; *словесное уверение* оказывалось имеющим равное значение с отдачей

земли в аренду «с торгов».

Для нас, как посторонних только наблюдателей оренбургских деяний, нет никакой возможности прийти к каким-нибудь определенным выводам о размерах царящей над массой переселенцев всякого рода незаслуженной ими тяготы. Г. Сувчинский и в этом случае оказывает нам великую помощь. В его заметках мы находим характеристику тех разнообразнейших положений, в которых находится масса переселенцев, нуждающаяся (все как один человек) только в одном, именно «в земле»:

«Из общего числа переселенцев (109 485 д.) *только* 9,1 проц. устроилось *прочно* в поземельном отношении. Именно: 5,8 проц. приобрели земли на свои средства; 1,7 проц. при содействии Крестьянского банка и 1,6 проц. получили казенные земли в аренду, на основании высочайшего повеления 10-го июля 1881 года; *все же* затем *остальные, составляющие до 91 проц., собственной земли не имеют*; из них: 53,2 проц. проживают на заарендованных землях отдельными хуторами; 1,7 проц. в городах, 3,2 проц. на заторгованных землях и, наконец, 32,8 проц. в селениях бывших помещичьих и государственных крестьян или же в казачьих поселках и выселках. Значительное число переселенцев, поселившихся среди коренного населения Оренбургской губернии, объясняется отчасти обилием земель, которыми пользуются местные жители, а затем *бедностью переселенцев, не обладающих достаточными средствами для того,*

чтобы обзавестись самостоятельным хозяйством, и вынужденных проживать среди более богатого населения в надежде на заработки. Из числа означенных переселенцев 7740 семей, 35 792 душ проживают в работниках 2696 семей, или 10 786 душ, то есть 34,6 проц.; занимаются хлебопашеством 2791 семья, или 15 005 душ – 36,1 проц.; занимается ремеслами 1650 семей, или 7377 душ – 21,3 проц. и занимается торговлей 609 семей, или 2 627 душ – 8 проц. Так как труд деревенских ремесленников, вследствие примитивных требований от них, оплачивается так же плохо, как и труд чернорабочих, то оказывается, что свыше 55 проц. указанных выше переселенцев не имеют самостоятельных средств к жизни и находятся в самых плохих экономических условиях. Отсутствие достатка подтверждается, между прочим, тем, что большинство не имеет собственных домов, а именно 50,3 проц.»

Вот каковы итоги долговременной организации народных масс «по оренбургскому» способу. Способ этот дал возможность прочно устроиться только 9 % (10 181 д<уша>) из общего стотысячного количества переселенцев, насчитанных волостными и станичными правлениями, и из 150–180 тысяч, считаемых г. Сувчинским за проживавших в Оренбургском крае «в действительности». Из 10 181 счастливца оказалось только 6509 душ, которые смогли на *собственные средства* приобрести в собственность 42 065 дес<ятин>.

устроить на них 30 хуторов с общим числом 1128 дворов; затем оказались счастливыми те 1787 душ, которые воспользовались высочайшим повелением о сдаче им в аренду 5604 десят<ин> казенной земли (девять хут<оров>, количество дворов не обозначено), и, наконец, едва народившийся Крестьянский банк также осчастливил неожиданно-негаданно, «не по оренбургской системе», давши возможность приобрести 5893 десятины, устроить одиннадцать хуторов с 321 душой. Высочайшее повеление и учреждение Крестьянского банка, как видит, конечно, читатель, ни в какой мере не могут быть включаемы в характеристику организации народных масс «по оренбургской системе»; точно так же не входит в эту систему организации и покупка земли на собственные средства. Приобретение имущества на собственные средства – дело столь постижимое и столь обязательное для всех приобретателей на всем белом свете, что не должно быть принимаемо даже и в малейшей степени во внимание, раз дело идет об исключительных качествах оренбургской системы организации масс и землевладения.

Таким образом, если мы исключим из имеющихся в наших руках цифровых данных все 10 181 душу, устроившихся вопреки основной идее оренбургской системы, то сущность ее выразится в цифре 99 304 душ, *не имеющих собственной земли*. Если же мы возьмем цифру *действительную*, достигающую 180 тысяч, то оренбургская система выразится в грандиозной цифре 169 819 душ, в течение десятков лет не

ДОБИВШИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ *иметь собственную землю.*

IV. Хутор недоимщиков крестьянского банка

Заглянем теперь в один хутор, основанный года три тому назад новоселами и уже имеющий «по бумагам», во-первых, наименование, во-вторых, недоимку Крестьянскому банку с пенею за все шесть полугодий, и успевший уже утратить всякое право на какое бы то ни было снисхождение.

Дорога хоть и плоха и мало наезжена обитателями хутора, но живописный простор окрестностей, умеряя впечатление неудобства езды, возбуждает настойчивое желание видеть тех людей, которые, хотя и утратили все права на какое бы то ни было снисхождение, кажутся все-таки счастливыми уже тем, что так или иначе, а добрались до этих привольных и очаровательных мест.

Желание это осуществляется довольно скоро. Часа через полтора извозчик, указывая кнутом, говорит:

– Вон и Трехсвятский хутор!

Но глядя самым пристальным взглядом по направлению кнута, мы действительно видим «*что-то*»; но представления о хуторе, то есть о двух-трех избышках, хотя бы самых мизерных, о двух-трех соломенных крышах, над которыми вьется дымок, свидетельствующий о «жиле месте», этого мы не видим. Какие-то черные груды, напоминающие в кучки сложенный торф или кизяк, небольшого размера, разбросанные

где попало, не дают ни малейшего представления о человеческом жилье; удивляет даже скелет тележонки, примечательный вами неподалеку от этих черных куч, и неожиданный лай собаки, когда нигде не видно ни единого человеческого существа и вообще нет никакой возможности представить себе, чтобы здесь могли жить люди. Однако живут. Лай собаки и «тпру!», произнесенное извозчиком, остановившим лошадей около одной из черных земляных куч, вызвали на божий свет живых людей, мужиков, баб с грудными младенцами, подростков. Оказывается, что народу много, очень много живет в глубине этих черных куч земли; маленькое окошечко смотрит из ямы, по краям которой в несколько слоев наложены толстые куски дерна, как кирпичи, и такими же кусками дерна застлана плоская крыша; нагнувшись в три погибели, можно заглянуть в эту, в буквальном смысле, конуру и в миллионный раз убедиться, что «золотые» руки нашей крестьянской женщины даже и такой ужаснейшей конуре могут придать облик некоторого уюта. Какой уют может быть в яме, вырытой в земле аршина в четыре длины и в три ширины? А вот оказывается, что может; стены вымазаны крепкой красной глиной, прилажена из той же глины печурка в аршин величины; в порядке приткнуты к ней кочерга, ухват, водонос, и люлька с ребенком качается в уголке. Шевелиться, ходить в этой клетке нельзя, – и вот вы видите, что люди, живущие здесь, как бы только жмутся друг к другу, спасаясь от непогоды или присев для отдыха, конечно «по-

теснившись». Заглянув в эту клетку, наполненную преимущественно женщинами и детьми, мы видим, что нас приветствуют поклонами, но что все приветливые люди удручены не горем, а таким отчаянием, которое нельзя высказать словами, которое притупляет способность слова, мысли и выражается в глубоком вздохе и мертвом молчании.

Молчаливые люди, как бы не имеющие сил очнуться, прийти в себя, выползают из своих нор, конечно без шапок и без сапог, и, вынужденные отвечать на вопросы нежданного агента банка, дают ответы как бы впросонках, без начала и конца; но это продолжается недолго; не договорил один, надумает и договорит другой, а вслед за ним и третий найдет, что добавить, и скоро полусонное состояние слетает с сознания толпы и начинается то, что определяется словом «галдение», но что в действительности есть самая жгучая потребность сразу высказать и выкричать все свои муки. Каждый говорит свое. Одновременно слышно: «банк», «пало две лошади», «неурожай», «господи-батюшка!» (стонет баба), «плант»... «обман»... «помирать!»... «бог даст»... «адвокат». Крайнее нервное возбуждение, овладевшее толпой в момент взаимного излияния, неотразимо свидетельствовало, что у каждого из них и у всех вместе много-много накопилось на душе горького горя.

Разговор о том, как шло дело «с самого начала» и как оно пришло к мучительному сегодняшнему дню, всегда начинается «сам собой», даже без вызова со стороны постороннего

посетителя. Вот выступает из толпы человек, который пережил все несчастья с самого начала до сего дня и который знает каждую мелочь, касающуюся жизни всех бедствующих теперь в «новом» хуторе его «товарищей», и всякий раз в пересказе о всех несчастьях, неудачах и бедствиях новоселов выясняются как последствия тех хозяйственных расстройств, которые побуждают оставить родные места, так и те неизвестные, неожиданные затруднения, свойственные исключительно оренбургской системе землевладения, которые осаждают уже расстроенного человека и на новых местах.

Хутор, о котором идет речь, может служить, так сказать, образчиком «последнего предела», до которого могут довести людей эти местные оренбургские влияния, предоставленные последовательному своему развитию. Помимо коренных оснований общего расстройства новоселов, жители упомянутого хутора, возникшего три года назад, осенью прошлого года, вследствие двухгодичного неурожая и полнейшей голодовки, вынуждены были разбежаться с хутора «кто куда», побросали свои землянки, даже разрушили их, частью прямо потому, что озлобились на горькое горе жизни («рассерчали и разломали все!» – сказала мне одна женщина), частью потому, что каждый кусок дерева, каждый кирпич было «имущество», копейка, нужная на хлеб. Весною Крестьянский банк решил обезлюдившее место продать с публичного торга, но весною же опять на хуторе появились живые люди. Промучившись и проголодав с семейством зиму в работни-

ках, некоторые из них вспомнили о своих землянках и воротились.

Так как большинство переселенческих «товариществ» образуется из людей, собравшихся кто с борку, кто с сосенки (больше всего такие образуются из выходцев черноземной полосы внутренних губерний), то случайно сошедшиеся товарищи и разбежались из хутора по разным местам. Пользуясь этим и зная уже «порядки», те из товарищей, которым надобен был приют безотложно (много детей), решились возвратиться на старые места уже с расчетом, что можно воспользоваться, во-первых, оставшимся имуществом неизвестно где блуждающих товарищей, а во-вторых, привлечь на новые места новых товарищей, которые еще и в мыслях не имеют счастья мечтать о землянке. Один из самых практических мужиков первый явился на старое пепелище, первый разломал чужие землянки и сделал себе землянку на две половины, а затем, собирая новое товарищество, стал переступать оставшиеся, хотя и полуразрушенные, землянки другим «припущенникам», обязываясь внести платеж примерно за одну душу (чего никто не делал), но выговаривал за это право пользоваться лошадю, если она была. Словом, ни одного шага не было без расчета, и все по «крестьянскому обычаю». Таким образом, к июню месяцу поселок был населен, но из «товарищей», записанных в купчей, было не более двух; все остальные были «припущенники», разобравшие «души» ушедших по частям, по кусочкам.

Между тем некоторые из старых товарищей, неведомо где пребывавших, прослышали, что на старом месте опять собираются «люди», и сами стали возвращаться. Но на своих местах и в своих землянках они увидели чужих людей, которые оказались *законными* владельцами их имуществ и наделов, законными потому, что, взяв землянку и землю, они приняли на себя и огромный долг банку, оставленный возвращающимися, у которых нет уже ровно ничего, чтобы иметь право взять хотя капельную часть новоявленной «банковой» «души». Старые, по банку, товарищи встретились с новыми обитателями, не имея никаких средств к жизни, в ту минуту, когда эти новые уже успели, по наущению коновода, поделить по душам землю и сдали из двухсот десятин, которых не было средств обработать, пятьдесят дес<ятин> под покос какому-то купцу на два года. Расчет был такой: поделить арендные деньги по душам, обзавестись на них скотом и начать свое хозяйство. Но так как подобные отдачи в аренду, когда товарищество еще обременено долгом банку, требуют разрешения совета Крестьянского банка (банк может быть вынужден продать участок ранее срока аренды и тем возбудить иск арендатора об убытках), – то, вероятно, не будет утвержден советом и приговор хуторян, хотя для них и выгодный.

Таким образом, обыватели этого хутора, изъедаемые язвами не порядков домашних и оренбургских и приведенные нуждою к хищению, хотя и «по закону», чужого добра, но по закону же не имеющие возможности поправиться, стать на

ноги, и уже успевшие посеять семена злобы и вражды среди людей этих пяти едва приметных землянок («Две землянки сломал, дьявол, чужих, для себя, да мою, дьявол, отдал чужому!» – злобно шепчет какой-то босой и оборванный человек, шепчет потому, что уже боится дьявола, боится, что из-за хлеба в работники не возьмет), – представляют собою образчики «последнего предела», до которого могут быть доведены люди последовательным развитием неблагоприятных хозяйственной жизни причин. Здесь, как видим, люди дожили уже до нравственного падения, но причины эти настолько однородны для всего количества переселенцев Оренбургского края, что вообще во всех хуторах все новоселы непрерывно ощущают тревогу жить на свете.

V. Подставные депутаты

Сведущие в делах Крестьянского банка лица, а также и те местные обыватели, которые имели возможность близко узнать положение оренбургских переселенцев, утверждают, что всякий раз, когда почему-нибудь окажется нужной проверка наличного состава крестьян, образовавших товарищество, – никогда не оказывается в наличности именно тех товарищей, *которым принадлежит инициатива покупки*, которые были доверенными от других товарищей и несли на своих плечах все хлопоты, вплоть до выдачи крестьянам купчей крепости. Так как такого рода проверки постоянно возникают из необходимости выяснить причину продолжительных неплатежей и так как неплательщики в объяснение этих причин во множестве случаев указывают на негодность приобретенной ими земли, то лицу, делающему расспросы, вполне естественно укорить самих покупателей, сказав им примерно так:

– Теперь вы говорите – земля негодная. Зачем же вы добивались покупки, лезли в неоплатный долг и уверяли, что земля «первый сорт»? Ведь вы видели, какая земля?

Этот упрек сразу ставит дело на надлежащую почву:

– Да мы ее, землю-то, впервые увидели, когда купчая в руки попала. А до того времени и слыхом не слыхали, какая-то такая земля есть.

– Но ведь от вас же были доверенные, которые утверждали, что «лучше нам не надо»?

– Да ведь мы доверили им троим, потому что они сами первые в товарищи-то шли! Ежели наш брат хвалит, да берется еще уладить компанию, да за хлопоты берет кто что сможет дать, да и планы у него в руках с печатями, и все те он планы растолкует, – так как же мы не доверим? Мы здесь чужие; как и где купить – не знаем; денег у нас копейки нет, чтобы послать ходоков, а тут люди добрые сами берутся уладить, да люди-то такие же, как и мы грешные, – мужики. Кажется, ведь никто худа себе не пожелает?

– Но ведь и член банка также нашел, что земли удобные?

– Так ведь член также нашим доверенным поверил. Он ведь не знает местов и, стало быть, сам должен спрашивать тех, кто знает, и, конечно, наперед всего наших же доверенных. Уж будьте покойны, сумеют последний булыжник в прекрасном смысле объяснить... Только бы с рук сбыть землю. Теперь мы вот как это знаем!..

– С чьих рук сбыть?

– Да с хозяйских! Теперь вот по нашей купчей значит, приобрели мы от советницы Андроновой, а почесть никто и в глаза ее не видал, знали ее только доверенные... Андронова-то госпожа и наградила их! Не для нас оборудовали, а для советницы! Вот в чем расчет-то!

– Когда же они вышли из товарищества?

– Да они и дня с нами не были на этих местах-то... Всу-

чили купчую да окладной лист, и след простыл! Сегодня нет, завтра нет... Слышим-послышим, один на железной дороге в артельщиках, другой в городе в приказчиках... А мы пришли сюда – и сели на мели... Да два года неурожаю, а уж долгу narosло – выше головы!

Товарищей, не оказывающихся при проверке списков, – по словам людей, близко знающих дело, – вообще много в каждом новом поселении: иные уходят домой, в Европейскую Россию, соскучившись в новых местах, иные из боязни платежей; но во всех тех хуторах, иногда уже в сорок, пятьдесят дворов (землянок), где все жители поголовно, при малейшей попытке узнать их положение, начинают хаять купленный ими участок, всегда оказывается, что он куплен «по доверенности», что они только *теперь* видят, какая это земля, и что покупщики – «доверенные» исчезли неизвестно куда.

– «Удобная» было написано! Вон она какая удобная! Нанимали распахать десятину одного мужика, земли ему давали, сломал две сохи, плюнул да ушел.

– Лугов, вишь, пятьдесят десятин; эво, вон они какие, луга-то! Болото! Не то зубом, топором не возьмешь экой травы!

Словом, весь поселок до единого человека вопиет о собственной своей гибели; все на деле оказалось совершенно не так, как на бумаге, и нет во всей этой толпе ни единого человека, который, повидимому, не был бы близок к полному

отчаянию, причем вся вина сваливается на тех доверенных, которые «обделали дело», «всучили» и ушли.

Судя по отчету г. К. Е. Сувчинского (до 86 года), 46 % всей земли арендовано крестьянами у частных владельцев, причем наибольшее число договоров, почти близкое к числу заключенных у нотариусов (34 %), в станичных правлениях (21 %), заключено *по словесным условиям* — 12 % и *домашним* (?) условиям — также 12 %. Сроки же аренды таковы: самый дальний — 12 лет — 39 %, затем наибольшее число аренд на 6 лет — 18 % и, наконец, на один год — 9 %. Таким образом, из огромной массы тех 90 % переселенцев, которая до сих пор *«собственной своей земли не имеет»*, лишь 40 % имеют возможность арендовать земли на 12 лет, а вся остальная масса в наилучшем случае еле одолевает 6-летнюю аренду, и затем сравнительно большое количество переселенцев (9,7 %) в силах арендовать землю только на один год, причем из общего числа договоров на долю таких фантастических, как словесные и домашние, приходится 24 %. Всех этих черт, намечаемых цифрами, весьма достаточно, чтобы представить себе огромную массу крестьян, не ощущающих вообще прочности своего существования, перебиваясь со дня на день, зарабатывая деньги на аренду в работниках, живя в чужих избах, передвигаясь для заработков с места на место, и не видящих впереди ничего, кроме непрерывной маяты из-за куска хлеба. Появление спасителя в такой измаявшейся среде, который сулит вековечную осед-

лость, показывает планы, сам собирает *себе* товарищей, говорит, что нужна только самая малая приплата (в том трагическом поселке, который описан выше, товарищи доплатили лишь 50 рублей, а 2000 с небольшим ссудил банк), не может не действовать на истинных мучеников самым возбуждающим образом; всякий, у кого есть что-нибудь продать, есть какая-нибудь коровенка, есть заржавленная соха, которой не было дела целые годы, всякий с радостью присоединяется к покупке: «Теперь есть на что понадеяться, земля будет; а там, бог даст, и все будет по-хорошему!»

VI. Бородатые младенцы

К сожалению, такие покупки «очертя голову», как и среда переселенцев, в которой «подставные» депутаты имеют постоянный и несомненный успех, – это среда наших так называемых «курских» переселенцев, крестьян ближайших к Москве черноземных губерний.

Исторические влияния «Москвы» и условия хозяйства именно на «черноземе» никого так нещадно не побивают «на новых местах», как именно наших крестьян черноземной полосы. Сущность «московских» влияний, в самом элементарном виде, может быть определена, как значительное ослабление в сознании крестьянина значения его личных интересов, домашних и вообще каких бы то ни было *личных* удобств жизни. Его «воля» до Юрьева дня была постоянным стремлением «убечь» из-под одного кулака под другой; когда же решено было лишить крестьянина своевольтва в перемене и выборе кулаков и, в попечительной заботе о сельском населении, признано было за благо навеки прикрепить вольного к одному кулаку, тогда он понял, что он уже «сам не свой», и целые столетия как нельзя лучше оправдывал это свое решение.

Его женили не для него самого, а для того, чтобы образовалось новое тягло, то есть новая платежная душа для поль-

зы владельца. Нам уже известно³⁴, что владельцам до освобождения крестьян предоставлено было право людей, негодных в хозяйстве, больных, старых, калек, сдавать в зачет рекрут, причем все такие лишние для хозяйства люди переселились в Западную Сибирь как пригодные будто бы для ее колонизации.

Не касаясь таких исключительных случаев, мы не можем не видеть, что, будучи уже освобожден, он в большинстве случаев поставлен был не в лучшее положение, чем оно было в старину: неправды, пущенные в ход многими беззаконниками при наделении его землей, оставили его попрежнему работником на чужих людей, ознакомили его с небывалыми штрафами за потраву, за клубнику, ислеканную курами, за два-три лишних взмаха косы на не принадлежащей ему земле; от него окопались канавами, и в конце концов, дожив до непомерных цен за аренду, достигавших до 25 р. за десятину на один посев, – он и ушел из дому, предчувствуя близость безнадежного положения. Унесен был он веянием «уходить на новые места», как былинка; увлечен этим веянием его наивный ум так же, как может быть увлечен наивный ум ребенка.

Перспективы об устройстве своего личного благосостояния у него нет, он не привык знать и желать с точностью того-то и того, из чего слагается его личное счастье и благосостояние, и потому нельзя не верить, что, отойдя от родных

³⁴ Том III, стр. 247. (См. стр. 251 этого тома.)

мест, он «пужается» как ребенок, который побежал в лес за птицей и «испужался» леса. Его раза два воротят с дороги домой и два раза повернут опять на дорогу. Его спасение тогда, когда он пристанет к партии, к людям, которые идут – не сомневаются. Но нужда может заставить его отстать от партии, остановиться, чтобы продать полушубок, и он опять один и испуган, опять почти не знает, что с ним делается.

Ко всему этому, наивный утомленный человек, не знающий, что такое расчет в личных делах, идет в дальний путь почти без копейки, проедает имущество, и если в какой-нибудь деревне, станице кто-нибудь примет его с семьей в работники, так и сомнения быть не может, как он будет этому рад. И с этого первого пристанища на чужой земле начинается та многолетняя маята, с годовыми арендами, с передвижениями с места на место, которая в конце концов бросает измаявшихся людей в руки ловких посредников и сопровождается теми покупками земли «очертя голову», о которых мы уже говорили.

* * *

Во время проезда через Оренбург, на переселенческой станции, мне пришлось, единственный раз во все мои поездки, видеть «своими глазами» несколько «курских» семейств, повидимому не знавших крайней нужды и даже имевших некоторые *средства*. Для подлинного типа *курского* пересе-

ленца иметь средства – дело невозможное; курский – всегда без средств, без копейки, иначе он не был бы курским. Поэтому несколько курских семейств, не знавших нужды и имевших некоторые средства, были для меня явлением совершенно неожиданным. Народ, мужики и бабы, парни и девки были рослые, но какие-то мягкие, нежные; все молодые бабы были, так сказать, пышного телосложения, и девки, видимо, приготавливались быть такими же пышными, как их замужние молодые сестры. Выражение лиц и в особенности глаз у всех этих мягких в суставах, нежных в телосложении людей, всякого пола и возраста, было почти детски наивное; у ребятешек, пожалуй, еще и играли в глазенках искорки любопытства, но у пышных баб и «нежных» молодых мужиков ничего, кроме светлой, чистейшей наивности, не выразалось. По глазам трудно было отличить бабу от мужика, а обоих вместе от ребенка. Да и вообще в мужиках было что-то бабье, и на моих глазах молодой мужик нянчил ребенка, как истинная баба. Мне даже почудилось, что и от него пахнет теплым молоком, запах, который весьма ясно ощущался среди пышных баб, когда я вошел в большую комнату переселенческой станции. Все бабы были в какой-то суматохе: мыли рамы, подтирали полы, вообще прибирались. Глядя на это, я понял, почему именно мужики нянчат грудных детей, но затем с двух слов, которые почла нужным сказать одна из пышных баб, я узнал, что вся суматоха происходит потому, что семьи собираются уходить обратно...

– Да давно ли вы пришли?

– А кто е знает! – выпрямившись, поправляя одной рукой повойник, и держа в другой мочалку, мягким и веселым девичьим голосом ответствовала молодая пышная баба и смотрела большими, но истинно ребячьими глазами.

– С неделю как пришли! – прибавила другая и затем сразу все затараторили. Ни в ребятах, ни в девках, ни в бабах не было и тени мысли о какой-нибудь трудности предстоящего пути, все они точно в игрушки играли и все знали только одно, что надо мыть полы и рамы.

– Ты у мужиков спроси, – наконец сказала мне одна из пожилых женщин. – Спроси-кось, они там на дворе... Увспроси-кось!

Но и от молодых мужиков, которые пахнут женским молоком, тоже ничего путного узнать мне не пришлось.

– Ходили наши... трое... шш!.. шш!.. – не то бабьим, не то детским голосом, растягивая слова, проговорил он и замолк, раскачиваясь с ребенком, завернутым в ваточное одеяло.

– Шш... шш... Там вон... старики... Шш... шш...

– Не раскачивай его! – тягуче пропела баба, во весь рост и во всей своей пышности стоя на крыльце с грязным ведром. – Дергаешь его. Полегоньку... да шушукай!..

– Шш... ну, ну, шш... Старики там...

Но и старики не блистали пониманием собственного своего положения и только как бы недоумевали о причинах своего появления в Оренбурге и решения почти тотчас же воз-

вернуться обратно.

– У чиновника-то? Как же, были... ходили... Посылал он в три места...

– Что же, ходили вы?

– В одно-то место ходили...

– Ну и что же? Нехорошо?

– Как сказать? Неохота взяла...

– Отчего же? Если в одном месте нехорошо, отчего в другом не посмотреть? Далеко ли вы ходили?

– Да верст, почитай, за пятнадцать...

– Только за пятнадцать верст? и раздумали?

Молчание, раздумье и протяжный ответ:

– Народу не видать... Увспросить некого... Жутковато стало!

Нужно было восстановить в памяти этих пугливых людей все то, что делается у них на родине, и расписать им всю благодать, которую они, имея и скот и некоторый достаток, могут найти здесь. Надобно было, как говорится, «долбить» о предстоящем им разоренье, о том, что, уйдя из дому с достатком, они воротятся нищими, надобно было даже напугать их детски наивный ум, чтобы он образумился хотя бы от испуга. В конце концов недоумевающие о своих поступках старики, неожиданно для них тронутые за присущие им бабьи качества и особенно указанием на то, что их бабы и ребята имеют здесь отличное помещение, не промокнут под дождем, не простудятся и не «помрут», а что тем временем

они спокойно отыщут самое благословенное место, почувствовали сначала потребность вздоха, потом как бы вспомнили о самих себе и порешили еще раз сходить к переселенческому чиновнику:

– Надеть попытать!.. Люди вон на базаре толкуют, погибель, мол, здесь одна! Эво как!

– Мало ли что говорят. Говорят такие же как вы, – пошли да воротились, да разорились.

Необходимо было самое непрерывное «долбление» в одну и ту же точку, чтобы мысль о *собственном* своем самосохранении, наконец, хоть немного возобладала над пугающими случайностями. Но при всем моем старании я оставил переселенцев, не будучи уверен в том, что они примут хотя какое-нибудь обдуманное решение, хоть они и повторяли несколько раз:

– Надеть попытать! Завтра пораньше надо к нему... Пока что поспрашиваем...

К счастью, потом я узнал, что курские младенцы всякого пола и возраста наконец образумились и «принялись» искать «местов» по самым точным указаниям.

* * *

Таким образом, крестьянин черноземной полосы, у которого исторические влияния почти «отшибли» всякую смелость думать о средствах и путях к достижению собствен-

ного своего благополучия, даже и при благоприятных в материальном отношении условиях, все-таки не защищен от внешних влияний, даже просто внешних впечатлений, которые постоянно затемняют в его сознании неокрепшую мысль о праве на личное счастье и довольство.

С другой стороны, в этих же с борку и с сосенки собравшихся хуторах, изнывающих и стонущих от неурожаев и от «обмана», учиненного посредниками, несмотря на то, что всем поголовно нечего есть и уж вовсе нет возможности что бы то ни было и куда бы то ни было платить, – привычка знать, что живешь на свете для того, чтобы *платить*, оказывается и здесь, на новых местах, опять-таки преобладающей над личными заботами. Двенадцатилетний мальчик не только знает, как знает его отец, свои платежные обязанности, но в мельчайших подробностях может рассказать о хозяйстве и средствах всех до одного из хозяйств, образовавших хутор. Сколько кур, овец, огурцов, даже яиц – и то, кажется, знает до тонкости всякий про всякого и всякий караулит всякого, чтобы он вещь известной стоимости не проел «зря», а, продав, внес бы в уплату в банк, а то если он не будет платить, то за него «прочим» придется отвечать, хотя «прочие» также ровно ничего не платят.

Оборванный, голодный и холодный обыватель одного хутора, уже не молодых лет, очевидно до мозга костей проникнутый огромностью значения платежа и сам изнуренный им до последней степени, на моих глазах, с явным, до злобы до-

ходящим раздражением, протестовал против попытки одного из товарищей продать свою избу.

Товарищ, выстроив себе избу, не мог, однако, начать хозяйства, потому что нехватило денег и лошадей; тогда он вздумал сделать так: устроил рядом с домом землянку (обмазанная внутри отличной красной глиной, она не всегда похожа на мышиную нору), а избу решил продать и на вырученные деньги купить лошадь, сабан³⁵ и начать хозяйство. Бог даст урожай, тогда и опять изба будет. Кажется, что здесь худого, и кто вообще может препятствовать человеку жить в избе или землянке, да и задуманное товарищем дело задумано, как видит читатель, вполне резонно и умно. Однако крестьянин с отшибленным сознанием неумолимо кричал, даже пищал на сходе:

– Нельзя этого дозволить! Он дом продаст, деньги изведет, в банку не заплатит, кто отвечает? Все мы же в ответе!

– Мы всем имуществом в ответе, – не умолкая пищал он, трясясь всем своим голодным телом. – Как же он смеет самовольно поступать? Из-за него наше имущество опишут!

– Не позволять ему никаким родом! – дребезжал он и бесновался среди общего хора толков.

К счастью, таких помешанных на подавляющем значении «платежа» стариков не часто встречаешь в новых хуторах.

Ко всему этому необходимо упомянуть едва ли не о самой существенной причине неудач черноземного крестьяни-

³⁵ *Сабан* (тюркск.) – род примитивного двухколесного плуга.

на, поселившегося на новых местах. Это – вековая рутина приемов обработки земли, практиковавшихся черноземным крестьянином на старых местах. «Чернозем» и земледельческий труд на нем во внутренних губерниях далеко не родня с «черноземом» и обработкой его на новых местах Оренбургского края. Не раз нам приходилось слышать от «курских» переселенцев, что у них заработная плата упала до самых ничтожных размеров, что для пахоты нанимают почти детей, двенадцати-тринадцатилетнего возраста, которым платят очень мало и поэтому не очень нуждаются во взрослых рабочих. Это будет вполне понятно, если принять во внимание, что так называемая «Соха Андревна» бороздит поля черноземных губерний целые века, только расшевеливая рассыпчатую землю; ходить за ней легко может даже и двенадцати-тринадцатилетний мальчик. Но та же «Соха Андревна», примененная на «нови», это то же, что столовая ложка при наливе парохода нефтяными остатками. На первом же шагу она прекратила бы свое существование, превратившись в прах, а вместе с ней и лошаденка потеряла бы всякую уверенность в возможности сделать что-нибудь путное для своего хозяина. Не преодолел бы, не измучившись вконец, этой нови и сам идущий за сохой черноземный крестьянин; никогда ему под соху не попадались камни, корни, крепкая, как сталь, глина и никогда он не напрягал своих физических сил до такой степени, как должен напрягать их здесь.

Но если бы наш черноземный крестьянин, повторяем, яв-

лялся на новые места хотя с какими бы то ни было средствами, с каким-нибудь рублишком, оставшимся от окладного листа, то, быть может, он и прилачился бы постепенно к непривычным условиям труда на новине. Утаенный рублишко дал бы ему возможность обзавестись скотом, приспособившимся к работе на этой неподатливой земле, приобрести орудия, подходящие к тем же качествам новины. Но в том-то и дело, что «московские влияния» совершенно отучили его от мысли хотя что-нибудь утаивать «на черный день», то есть на собственные нужды.

VII. Переселенцы с «рубличком»

Огорчительно это в особенности еще и потому, что, посещая хутора, населенные крестьянами из местностей, удаленных от Москвы на более или менее значительные расстояния, хотя и видишь общие для всех переселенцев трудности начала жить *сызнова*, но безнадежности их положения в будущем почти не ощущаешь или во всяком случае не думаешь о ней. Посторонившись от Москвы, каждый такой переселенец прежде всего не утратил возможности жить на свете «своей головой», «своим умом» и вследствие этого сумел-таки «первым делом» припрятать в мотке ниток или в чулке некоторое количество недоданных рубличек. А это главным образом и помогает ему поступать по возможности именно так, как велит ему «своя голова».

Впервые пришлось ознакомиться с обиходом жизни таких хуторян в один и тот же день, и притом через несколько часов после посещения хутора, населенного переселенцами с безнадежным будущим.

Оба хутора отстояли друг от друга в двух, много в трех верстах, и возникли в местности совершенно, до мелочей, однородных качеств: та же ключевая речка, извилистая, иногда переходящая в глубокие озерки, обросшие разнообразнейшей цветущей растительностью, тот же пологий к этой речке склон всей чрезвычайно красивой местности, та же

почва, та же крепкая, как сталь и красная, как огонь, глина, – словом, все до мельчайших подробностей одно и то же. Что же касается общего, в настоящее время, для всех переселенцев Оренбургского края материального расстройтва, то об этом можно судить по следующему обстоятельству: день, когда пришлось быть на хуторе, населенном крестьянами из отдаленных мест, был праздник апостолов Петра и Павла. В честь их и хутор носит название «Петропавловского»; так вот, в такой-то день своих патронов, в сорока дворах не нашлось рубля, чтобы пригласить священника и отслужить молебен. Все хуторяне сожалели об этом, но все-таки не в силах были собрать и рубля и вообще испытывали такую же нужду, как и черноземные хуторяне. Там говорили «съел» – лошадь, корову, овцу, то есть проел; в этом хуторе то же слово произносили по-малорусски: «зъив». В этом вся разница относительно истощения материальных средств обоими хуторами, то есть никакой. Но во внутреннем обиходе жизни между одним и другим хутором – разница оказалась весьма значительная.

Хутор этот населен крестьянами из южнорусских губерний, а южнорусский крестьянин, как давно уже известно всем, недодал такое количество карбованцев, что в этом отношении не только черноземному (об этом и говорить нечего!), но вообще всякому счастливому обывателю отдаленных мест ни в каком случае нельзя и думать с ним поравняться. Если крестьянин великорусских губерний почти весь век

свой жил, не жалея себя, то южнорусский крестьянин, напротив, испокон века не желал дать себя в обиду. Он ушел на новые места не потому, что нечем было «платить», а потому, что он не хотел платить и отдавать того, что нужно самому; знал он и перетерпел все, что претерпели и претерпевают все великорусские крестьяне – и непомерные арендные цены, и штрафы за курицу, за теленка, за потраву, за прикос, словом, знал и испытал все лежащие на народной массе обязанности; но когда великорусский крестьянин приходил от всего этого только к отчаянию и бегству «очертя голову», южнорусский только укреплялся в энергии обороны самого себя. Только силою его личной инициативы можно объяснить ту смелость и решительность, которую *ленивый* Хома, прославленный своею беспечностью, проявляет в настоящее время в переселениях действительно «на край света», из Полтавы, Чернигова – на Амур, в Уссурийский край, в глубину Средней Азии. Наш крестьянин внутренних губерний, и преимущественно, конечно, крестьянин черноземной полосы, может совершить этот путь единственно только «по этапу»; южнорусский делает это на свои средства, несмотря на то, что управление добровольного флота, в виду препятствия этому, как предполагалось, неосмысленному движению, стало взимать (кроме 90 р. проездной платы) еще и залог с каждой переселяющейся семьи в 600 р. И все-таки каждый пароход везет на край света сотни семей южнорусских крестьян.

Хуторяне, о которых идет речь, «недодали», конечно, го-

раздо меньшее количество карбованцев, чем недодали их собратья, переселяющиеся на край света; но и тем количеством карбованцев, которое было ими припрятано, они сумели распорядиться весьма умно и основательно.

Прежде чем купить ту землю, на которой образовался Петропавловский хутор, крестьяне послали в Оренбургскую губернию доверенных лиц. Лица эти не *исчезли* из числа товарищей, как это постоянно случается в хуторах, набранных с бору и с сосенки, и все находятся на жительстве в хуторе. Эти доверенные искали подходящего места *четыре года*, и мало того, что искали, но исследовали качества земли, засевали маленькие лоскутки, дожидались времени жатвы. Это делалось в разных местах, и только после того как доверенные нашли подходящее место, в котором надо было жить и им самим, они приступили к покупке. Но и после совершения покупки переселенцы еще не тронулись со старых мест; предварительно они выделили из своего товарищества несколько человек, которые, прибыв весной на новые места, запаслись скотом и орудиями, распахали уже несколько десятин и засеяли. Когда прибыли переселенцы, у них был свой хлеб.

Раздел участков сделан был при помощи частного землемера, приглашенного также на счет товарищей. В хуторе «случайных товарищей» также сделан раздел земли по душам (то есть по деньгам), но хотя глазомер и выработан нашим черноземным крестьянином в совершенстве, все-таки в

случайном хуторе обыватели поговаривали о какой-то «ошибочке».

– Одна ошибочка действительно что есть!

– Есть ошибка, верно! Чего уж!

– Там, пожалуй, разглядеть, и побольше ошибокков-то найдется!

– Ну, чего уж!

Хуторяне-южноруссы, напротив, утверждают, что план и все эти клетки вполне верны, и все хуторяне довольны землемером. План сделан «на вечные времена», и вообще земля не выйдет из рук членов и семейств товарищества никогда. Та же самая, стальной крепости, глина, которая удручает нашего черноземного крестьянина, дает возможность южноруссам строить отличные, красивые, теплые землянки из так называемого «воздушного кирпича» – он красен, как огонь, велик, прочен и красив. И во всех мелочах домашнего обихода видна та же постоянная отчетливость и определенность в поступках.

Какая разница, хотя бы, например, в устройстве собственной хаты, землянки, избы и окружающих ее жилых хозяйственных построек в этих двух стоящих рядом хуторах.

У малороссов хаты стоят задворками к речке, и от самого плетня, огораживающего задворки, вплоть до речки идет огород, и здесь же во дворе кладовушка для овощей, погреб, все поблизости к хате.

– И *бабе* легче буде воду носить с речки, – говорил хозяин

хаты, показывая свое хозяйство.

Перед хатой, которая ставится очень близко от холмистого подъема местности (чтобы не пропадала хорошая земля) и лицом к ней, также есть амбарчики, но за ними прямо идет выгон, где пасется скот.

– Вот из оконца *бабе-то* и виден скот... И волы и овцы!..

Два раза хозяин упомянул об облегчении бабьего труда, два раза он вполне ясно и точно объясняет каждый шаг в своем хозяйстве.

Но вот в соседнем хуторе, где есть и бабы, и огороды, и речка, и изба, но где люди до переселения весь век жили, «не жалея себя», там как-то не замечаешь особенной ясности ни в целях жизни, ни в поступках обывателя.

Изба, поспешно сколоченная кое-как, или та же землянка ставится здесь как раз наоборот, то есть лицом к речке, «на полдень»; затем перед рядом изб отведено огромное пустопорожнее пространство земли (которое у малороссиян уже под огородом) под «улицу», улица эта образуется из ряда амбаров, противоположного ряду изб. Так как у амбара обыкновенно складываются бревна, сохи, бороны и всякий хлам и так как к нему надобно подвозить и зерно и овощ, то и между амбарами и кругом них пропадает также весьма много пригодного для огорода места. И так как лучшая часть земли, наклоненной к речке, истрачена без всякого толку, то огород, который, наконец, начинается за амбаром, оказывается малым, а для пополнения его разведен еще кусок ого-

рода на задах, то есть пройдя двор и загородь для скотины.

Положим, хозяину приятно видеть свой амбар каждую минуту, приятно также, чтобы и дом стоял на «полдень», да и на речку весело посмотреть, «на крылечке посидеть, на улицу поглядеть», – но ведь бабе-то (о которой и разговору нет, так же как не было и нет разговору о мужике) приходится таскать коромысла с водой на зады, через пустыри, между амбарами, через широкую пустопорожнюю улицу, через двор, через загородь, приходится подниматься из-под горы на гору, то есть совершенно напрасно тратить силу неутомимой работницы, которая к тому же редко когда не бывает *«тяжела»*.

VIII. Вятичи

По счастью, в удовольствии видеть оригинальность и самостоятельность жизни «своим умом» никогда не ощущается недостатка, раз только хуторяне пришли на новые места из отдаленных от «Москвы» местностей. Разнообразие в обиходе жизни хуторян, случайно сделавшихся на новых местах самыми ближайшими соседями (на старых они жили в совершенно различных местностях), иногда выражается в таких необычных для каждого из этих «ближайших соседей» формах, что все они могут только недоумевать и дивиться, глядя на необычные, для каждого из них, порядки в жизни друг друга.

– Не то что даром, а дай ты мне тысячу рублей, и то я в таких местах жить не буду! – не только искренно, а даже с некоторым испугом говорит извозчик из черноземных, дремучим лесом пробираясь с проезжающим по пятиверстной просеке к хуторам, населенным вятичами. И действительно, не только черноземному, приютившемуся на привольных местах и равнинах близ большой дороги, немислимо даже и подумать о возможности жить так, как живут вятичи, но и южнорусский крестьянин, также весьма и во многом совершенно непохожий на черноземного, и тот бы испугался этих лесов, хотя и не пугается переселений на Амур. На русском и на малороссийском языках они одинаково выразили бы ис-

пуг пред непостижимым для них размером труда, который положил вятский крестьянин хотя бы только в эту просеку.

– Ведь это дебрь непролазная! – сказали бы по-русски и по-малороссийски одинаково привыкшие к труду на безлесной равнине земледельцы. – Ведь тут и медведь-то, и тот заблудится, дороги к берлоге не найдет!

Глушь и дебрь, плотной, непроницаемой стеной стоящие по обеим сторонам узенькой просеки, вполне соответствуют этим страхам людей равнины, и заставляют почти забывать те мучения езды по просеке, которые приходится претерпевать на каждом шагу. На каждом шагу и телега и лошадь ломают свои колеса и ноги на пнях, которые поминутно попадают на пути. Каждую минуту лошадь спотыкается на этих пнях, а колеса, ударяясь и затем со скрипом всползая на них, тотчас же раскатываются в глубоких выбоинах около каждого пня и ломают телегу беспрестанными судорогами и корчами. А ветви деревьев каждую минуту стремятся хлестнуть и лошадь, и извозчика, и проезжающего по лицу, по глазам и всячески стараются сорвать с проезжающих шапки.

Но дебрь, глушь лесная, несмотря на постоянную потребность самообороны во время езды по просеке, она-то и внушает мысль о размерах положенного на эту просеку труда. Могучие вековые деревья (дуб, вяз, липа, береза) высоко поднимаются над подростками, а подростки тонут в чащобе всякого рода растительности: прутняк, высокая трава, ползучие и выющиеся растения опутывают и корни и ветки все-

го этого растительного живья душной и тесной дебри; хмель первенствует в этом опутывании и развешивает свои гирлянды по могучим сучьям и ветвям могучих деревьев, иногда до самой вершины.

Кроме тесноты и духоты живущей дебри, вся она переполнена массой уже почахлой растительности, иссохшим прутняком, огромными скелетами когда-то могучих стариков лесного царства, разбитых громом, изломанных бурей, свалившихся от истощения и по пути падения к сырой земле прекративших существование всему, что попадалось мертвому телу мертвого лесного Ватикана. Но эта просека, изумляющая размерами труда, положенного в нее вятичем, еще только начало действительных изумлений, которые начинаются с той минуты, когда изломанная лошадь вывозит изломанную тележку с изломанными путниками из просеки на широкий простор полей.

Теперь уже не просека, шириною в три – три с половиной аршина овладевает вниманием путника, а широкое пространство засеянных и колосившихся полей, очевидно отнятых трудами тех же рук того же вятича и у того же дремучего леса. Среди широкого пространства засеянных полей, как улья огромнейшего пчельника, рассеяны массы пней, которые при пахоте и посеве несомненно надо было обходить и лошади, и пахарю, и косуле³⁶. Видишь, что косуля на каждом шагу должна была зацепляться за корни этих пней, которых,

³⁶ *Косуля* (обл.) – вид сохи, отваливающей землю только на одну сторону.

очевидно, нет никакой возможности вырвать из земли. Понимаешь, что и жнитво, возка снопов среди этих пней – дело непостижимой трудности, и понимая и видя все это, решительно не понимаешь, какая нечеловеческая сила могла совершить все это не более как в течение трех лет?

В три года сделана просека длиною в четыре-пять верст, расчищены и засеяны десятки десятин из-под леса, выстроено пять хуторов, от пяти до пятнадцати изб в каждом, при каждой усадьбе сложены все необходимые хозяйственные постройки, – погреба, помещения для скотины, навесы, наилучшим образом расчищены эти же дебри для огородов, где не подобает быть пням в таком количестве, как в поле, где борьба с ними на пространствах десятков десятин уже решительно невозможна. И это все совершено в три года, в три года положено прочное начало жизни на новых местах, в диких лесных дебрях; и продолжение устройства, видимо, не прекращается ни на одну минуту. Рубит и тешет топор, стучит в кузнице у речки молот, пилит пила; свежими щепками, обрубками, кучами нарубленных и очищенных для построек деревьев полны все двory, вся улица³⁷ и все незначительные пространства вокруг избы.

Непостижимо и непонятно все это для постороннего наблюдателя, точно так же как и для всякого крестьянина, привыкшего к труду на безлесных местах. Но все эти загадки разгадываются самым простым образом, как только обыва-

³⁷ Сторона улицы, противоположная ряду изб, образуется загородью огородов.

тель этих новых изб, заслышав звуки стонущей и охающей повозки, на минуту оставит свой топор и выйдет на улицу посмотреть, кого бог принес. И у этого крестьянина надеты на ноги лапти, та же на нем домотканная рубаха и прочая одежда, те же онучи, та же борода, словом, все то же во внешнем виде, что и у его ближайшего соседа, но живет он не так, как живет его сосед, и не так, как сосед, работает своей головой, и то, что его соседу смерть, то вятичу жизнь.

Дерево в обиходе его жизни имеет первенствующее значение; в каждой избе точно мастерская; на самодельных токарных станках выделываются ступицы колес, затем и самые колеса, и, наконец, целые повозки; стул, который выносит на улицу вятский переселенец и предлагает проезжему присесть, также собственного его изделия, и все эти поделки продаются на базарах ближайших сел и деревень, населенных старожилами. Лубок, лыко, мочала, – все это дело рук вятского крестьянина; коробка, обшивка колесных и зимних повозок, приготовление мешков, корзин, лукошек, деревянной посуды и мебели, – все это говорит, что вятский крестьянин знает цену дремучему лесу. Но зная ему цену, он знает также, как с ним и справиться, совладать, покорить; кузница, да и не одна, составляет поэтому непременною принадлежность всякого хутора, населенного вятичами. Кузнечные молоты, не переставая, стучат по наковальням; топоры всяких размеров, пилы, земледельческие орудия, орудия, необходимые в кустарном производстве, – все это делает необхо-

димым иметь две-три кузницы в каждом поселении вятчей: постоянно надо ковать, точить, сверлить.

Пила и топор, вот с чем начинается он дело, на официальном языке именуемое «лесоистреблением». Задача его – как можно скорее отодвинуть от себя эту непроницаемую стену леса, и он идет с своим топором и пилой не поперек подлежащей истреблению десятины лесной дебри, а вдоль ее, причем ведет в ней такую же просеченную дорожку, на которой ему можно действовать только в размерах, доступных его рукам в правую и левую сторону. И так как так же поступают все его односельчане, то ряды начатых ими просек, не более трех аршин ширины, быстро отодвигают стену дремучего леса; топор рубит, пила пилит и валит на землю все, что спилено и срублено, и шаг за шагом подвигается вперед хозяин пилы и топора и таким образом выбирается к свету, к ничем не заросшей полянке.

После очистки всего спиленного и срубленного, что требует несомненно большого умения и знания, топор сопутствует вятскому крестьянину и при превращении освобожденной из-под леса земли в пашню. При всяком затруднении, которые на каждом шагу должна преодолевать косуля, вятский крестьянин пускает в ход топор, рубит корни и дает возможность косуле и лошади продвинуться вперед. Вятские крестьяне утверждают, что ихние лошади сами чувствуют, когда не следует рваться и тратить свои силы бестолку, и останавливаются всегда, когда нужно облегчить их трудное

дело при помощи топора. Кроме всего этого, лес необходим вятичам и потому, что пчеловодство в их средствах жизни имеет весьма немалое значение. В глухих дебрях, на полянках, к которым еще нет просек, повсюду рассеяны пчельники³⁸. Ульи также составляют предмет своеручного производства вятичей.

Так идет своеобразная жизнь вятичей, и идет как и у всех, живущих на свой образец переселенцев, хотя и здесь, как и везде и у всех, долги и неплатежи, особливо Крестьянскому банку, возросли уже выше головы. Куча писанных и печатных требований, *касающихся* всякого рода платежей, и здесь собрана уже в большом коробе, конечно местного, кустарного производства. Здесь у вятичей общие для переселенцев требования и угрозы, не в пример прочим, даже еще пополнены собственными требованиями и угрозами переселенцев самих к себе; так, например, мирским приговором постанов-

³⁸ При посещении вятских хуторов нам рассказывали об одном старичке, великом любителе пчеловодства. Каждую весну он на свои средства приходит к своим переселившимся односельчанам и учит их на новых местах всему, что касается его любимого дела. Осматривает пчельники, днюет на них и ночует, показывает, как и что надо делать, и когда сделает все, что нужно для успеха дела знать молодому поколению его односельчан, он уходит обратно домой. И к нашим черноземным приходят с старых мест, но – увьи! – приходят только за взысканием оставшихся за переселенцами недоимок и частных долгов. Появились какие-то антрепренеры, специалисты по части этих взысканий, выродившиеся из неудавшихся кабатчиков и кулаков. Общества стовариваются с ними на условия получения половины всего, что будет выцарапано ими при содействии местного начальства. В сущности же эти специалисты, не неся никакой ответственности пред обществами, только новый род разорителей народа.

лено: «За порубку леса, как в общем, принадлежащем товариществу, так и в отдельных для каждого двора участках, вносить по 2 рубля за каждый дуб, по 1 р. за вяз, по 50 к. за воз дров, воз лык и т. д.», причем прибавлено: «а за озорство – по пяти ударов розог», а если озорство будет сделано и во второй раз, «то деньгами и розгами вдвойне». Даже и эта добровольно налагаемая вятичами на самих себя угроза и острастка, как соответствующая их собственным предначертаниям, все-таки понятна в своей оскорбительной для человека сущности, не в той бессмысленной и бесцельной оскорбительности, с которою эти же пять ударов получали в наших волостных правлениях только за то, что человеку нечем платить недоимок. И все это, вместе взятое, то есть все сделанное вятичами, как и другими хуторянами, пришедшими из отдаленных мест, вполне сознательно, с целями вполне определенными, невольно радуется за человека вообще, на каждом шагу проявляющего работу своей мысли и дающего, хотя на малое время, полную возможность не видеть в нем только неплательщика.

IX. Сибирская дорога и переселенцы

Долголетний опыт выяснил нам неурядицу переселенческого дела (неразрывного с неурядицей в положении земледельческого класса на старых местах) исключительно только в образе множества человеческих существ, почему-то оказавшихся в безысходном положении. За исключением только что обнародованного (24 сент<ября> 1889 г.) законоположения об организации переселений на казенные земли, единственная *новая* черта, сколько-нибудь отличающая в наши дни всегда унылую картину переселенческого движения, — это значительно увеличившиеся размеры правительственной и частной благотворительности.

Правительство, выдававшее до настоящего года от пяти до десяти т<ысяч> на каждую из переселенческих станций, с будущего года увеличивает размеры пособий переселенцев более чем на сто т<ысяч> р<ублей>. Частные пожертвования с сотен рублей возросли до тысяч, но в то же время весной 1889 года сибирские телеграммы доносили до нас такие раздирающие душу стоны и вопли, каких мы не слыхивали до настоящего времени.

Быть может, именно эти раздирательные вопли и были причиной моих «мечтаний» о возможности наилучшим образом устроить и организовать переселенческое дело. Мечтания эти возникли одновременно с вестями и слухами о по-

стройке Сибирской дороги и выразились в таких соображениях:

Когда менонитам³⁹, колонистам Таврической губернии, стал известен закон 1873 года о воинской повинности, сто шестьдесят пять семей решились переселиться в Америку. Семь человек депутатов, которых таврические менониты послали в Америку, чтобы осмотреть новое отечество и выбрать подходящие для поселения места, объехали весь запад Америки, и как представители значительной партии переселенцев, они всюду пользовались *даровыми билетами и помещением от тех железнодорожных компаний, земли которых они осматривали*. Выбор пал на долину Арканзаса, тогда еще *почти совершенно пустынную*, и вся земля под поселение была куплена у *компании железной дороги* по два доллара, с рассрочкой на одиннадцать лет, причем компания

³⁹ *Менониты* – одна из протестантских сект, возникшая в XVI веке в Голландии и распространившаяся в странах Западной Европы. В России немцы-менониты появились в 1789 году в числе 228 семейств и были поселены на территории б. Екатеринославской и Таврической губерний, получив ряд хозяйственных льгот и освобождение от военной и гражданской службы. В 1874 году все колонисты в России были привлечены к воинской повинности. В связи с этим немцы-менониты стали уезжать в Америку. До 1876 года переселилось около 1800 семейств. Об устройстве одной из партий переселенцев и вспоминает Успенский, основываясь на явно преувеличенном рассказе П. Дементьева в народническом журнале «Устой» (1882, № 10) о состоянии менонитских колоний. Успенский достаточно здраво оценивает капиталистический порядок, хочет подчеркнуть значение Сибирской железной дороги для нужд переселенческого движения и только в этом смысле приводит сведения о роли американских железнодорожных компаний в освоении пустынных территорий страны.

обязалась выстроить в центре купленной земли два больших дома для временного помещения имевших прибыть переселенцев. В 1874 году последовало переселение менонитов. Дома были уже готовы, и с лишком восемьсот душ поместились в них. Менониты решили поселиться общинами и кинули жребий, – сперва между этими общинами, затем в тех из них, которые с самого начала решили перейти к участковому землевладению, между членами. В два-три месяца были построены жилища, *и дикая прерия обратилась в густо заселенную страну*. Дома, выстроенные железнодорожной компанией, были обращены один в школу, другой в церковь, и жизнь новых поселений пошла своим путем. Один очевидец, посетивший менонитов четыре года спустя, везде нашел станции и полустанки, через каждые три-четыре мили, повсюду элеваторы для хранения хлеба и приспособления для нагрузки скота⁴⁰.

Этот поучительный пример широко и плодотворно осуществленного дела, – заселения и оживотворения пустынь при содействии американских компаний железных дорог, – полагаем, окончательно затмевает суетные цели защитников и противников Сибирской железной дороги. И те и другие хотят только «укрепиться» на Тихом океане и не дать ходу китайцам, и все это в пределах только Приамурской области;

⁴⁰ Подробный отчет о колониях менонитов в Америке напечатан в «Устоях», 1882 г., № 10, г. П. Дементьевым, лично посетившим колонистов на новых местах.

на всем же остальном пространстве Сибири железная дорога стянет в Сибирь только темных людей со всей империи⁴¹. В Америке темных людей, несомненно, тьма-тьмушая; туда они стекаются не только со всех концов республики, но буквально со всех концов Света; и однакоже мы видим, что американские капиталисты, затрачивая огромные капиталы, думали не о темных людях, а о тех миллионах трудящегося народа, которым нет места в густонаселенных странах и которые хлынут на новые места, оживят пустыни, и у компании железных дорог образуется и продавец, и производитель, и потребитель.

Если бы в проект предполагаемой Сибирской железной дороги, как неперемное условие, вошло и решение переселенческого вопроса, и если бы постройка шла вместе с заселением прокладываемого пути, то «первые же вагоны» привезли бы не сотню темных плутов, но массу переселенцев, народа, жаждущего земли, бедствующего от безземелья, привезли бы сотни тысяч и миллионы. И схлынуло бы в Сибирь на новые места прежде всего все то несметное множество рабочих рук, которое ежегодно не находит возможности применить свою трудовую силу и, истощенное голодом, массами возвращается с Кавказа, с Поволжья, со всего черноморского и азовского побережья. Схлынет еще более многочисленный на Руси – *безземельный*, истощенный тяжким и бесплодным трудом на лоскутке земли, арендуемой за боль-

⁴¹ «Восточное обозрение», № 30.

шие деньги, и тысячами ссылаемый в настоящее время сельскими обществами как «вредный», хлынет и он, совершенно утратив необходимость быть вредным, и предпочтет краже огурцов или курицы работу на полотне железной дороги и наверное осядет там, где и работал. Схлынет туда все жаждущее земли, со всех концов России (как в Америке, со всех концов света), и все, что есть разное, разноплеменного, все объединится ближайшим соседством и взаимными отношениями.

При таких условиях не гремела бы Сибирская железная дорога пустопорожними вагонами, а везла бы миллионы производительных сил, везла бы все, что нужно для обихода жизни новосела-крестьянина, и тогда было бы дело и для торговли и для промышленности, было бы что привезть и что вывезть.

Сибирская дорога – это воскресение из мертвых несметного количества безземельных крестьян и вместе с тем воскресение из мертвых сибирских пустынь, оживотворение их живою жизнью, и вообще великое, всероссийское и всенародное дело. После всевозможного рода мероприятий, направленных к «упорядочению» переселенческого движения, спрашивается, до каких собственно существенных благ дожили тютемские горемыки? Дожили они только *до бумаги*, свято хранимой, как драгоценность, у каждого горемыки на груди; в бумаге обозначен лотерейный номер надела, который где-то и кто-то нарезал горемыке в Сибири. Бывает, что

безземельный и выигрывает в лотерею «земной рай», но чаще всего он получает пустой билет, проиграв все свои рублишки до копейки, и плетется опять на старое пепелище. Еще горшее бедствие ожидает его, если он «завязит коготок» в кредите Крестьянского банка. Банк прежде всего отберет от него (в виде приплаты) все те рублишки, которые крестьянину необходимы, «дозарезу» необходимы, на начатие хозяйства на новых, только что купленных местах, и затем обременит безземельного огромнейшим долгом, не позволит ему рубить лес, если он есть, не позволит отдавать в аренду ни лугов, ни пашни, а через шесть месяцев, после полного истощения всех средств к существованию, потребует уплаты процентов и погашения. За шесть лет своего существования, крестьянский банк изъял из крестьянских сбережений 15 020 235 рублей, да долгом обременил в 58 012 256 руб. И все это непомерное количество денег израсходовано для покупки (якобы) лишь 1 607 291 десятины; то есть на 752 721 существо пришлось лишь мечтательное владение еле-еле двумя десятинами.

Ни лотерейные билеты, ни затруднительные условия кредита в Крестьянском банке ни в малейшей степени не содействовали, не содействуют и не могут содействовать оживлению и заселению кавказских, оренбургских, среднеазиатских и сибирских пустынь. Пустопорожние вагоны гремят по всей Закаспийской дороге, от Самары до Оренбурга, от Самары до Уфы, до Златоуста, до Челябинска. И гремят они

в плодороднейших степных местностях, в очаровательных приуральских предгорьях, где цена земли ничтожная сравнительно с теми ценами аренды за квадратные сажени, которые обречены во внутренних губерниях платить *безземельные земледельцы*.

Таковы наши мечтания, но не такова действительность. К ней мы и возвратимся, заканчивая наши заметки.

3. Не знаешь, где найдешь (Рассказ крестьянина- сибиряка о «российском»)

I

На большом западно-сибирском «тракте», в глубине обширного двора, принадлежащего коренному сибиряку из «дружков», приютилась переселенческая семья, отставшая от партии и поджидавшая другую, чтобы не быть в дороге одинокой. Там, в углу двора, виднеется маленькая ветхая повозка на маленьких полусгнивших колесах; около повозки толкается, отмахиваясь жидким хвостом от оводов, тощая и также, соответственно повозке, микроскопическая лошаденка. Около повозки и лошади копошатся какие-то сероватого цвета люди; кто мужик, кто баба, не разберешь: тощи они, серы, малы; мальчик или девочка бегают тут же около повозки и лошади, также разобрать довольно трудно. Двор обширен, а «российский» переселенец дожил в своих местах до таких микроскопических размеров во всех отношениях, что издали, от ворот или с крыльца, не сразу разберешь, что там такое копошится в углу? Видно, что есть там что-то живое и движущееся, а разобрать сразу, что именно там есть,

не разберешь.

Однако скоро оказалось, что переселенец запрягал свою микроскопическую лошаденку в микроскопическую повозку и собирался уезжать. Скоро повозка его выбралась из-под палящих лучей солнца, стала видна ясно и приблизилась к крыльцу настолько близко, что я мог довольно хорошо разглядеть ее в подробностях. В повозке сидели ребяташки, мальчик и девочка, в таких же серых от грязи рубашонках, какие были на тощей матери и на тощем отце. Забота или равнодушие выражались на лицах крестьянина и его жены, хорошенько нельзя было понять, но кажется, что то и другое одинаково отражалось на этих простых, добрых, усталых лицах. Не знаю почему, мое внимание привлекла та дерюга, которою была покрыта кибитка, кой-как устроенная из древесных ветвей; вся эта покрывка состояла буквально из заплат, тщательно, всякими швами и всякого сорта нитками, пришитыми одна к другой, и я, всматриваясь в эту дерюгу, неожиданно ощутил какое-то впечатление безмерного страха, но не успел выяснить себе его (это сделалось впоследствии), потому что на крыльце появились хозяин с хозяйкой и вступили с переселенцами в разговор. Переселенец кланялся, держа в руках шапку, кланялась и его баба; оба они благодарили за приют. Жаловались, что нечем благодарить и что трогаться надо, потому что с час времени назад «по тракту» проехали три повозки с переселенцами и переселенцу хотелось догнать их на ночлеге, чтобы потом уже и

ехать дальше вместе.

Кибитка, дрожавшая и колебавшаяся, прошла мимо моего тарантаса и исчезла. Скрипнули отворявшиеся ворота и скоро захлопнулись, затворяясь. Переселенцы уехали, а сибиряк хозяин с своей женой-сибирячкой, люди молодые, румяные и оба, так сказать, просторного телосложения, уехали неподалеку от меня на крыльце. Они только что покончили «с прикусками» и большим самоваром и, ожидая пока вскипит другой и пока поспеют новые «прикуски», вздумали посидеть на крыльце, на солнышке.

– И что это за народ за такой, эти «российские»! – с насмешливым недоумением проговорил, как бы рассуждая с самим собой, хозяин-сибиряк. – Как российский встрелся, – нет с ним никакого разговору, окромя как – «земля, земля, земля», да «душа, душа, душа». Только и всего, и никаких слов у него нету больше.

– Да еще «бог»! – прибавила сибирячка, огласив двор звонким фальцетом, доказывавшим, что она принимала в уничтожении «прикусок» не малое участие.

– Вот и это еще! Это верно! Бог также во всяком случае; что ни слово, то «бог, бог, бог», а промежду того опять же «земля, земля, земля», да «душа, душа, душа». О чем ты с ним ни заговори, уж никаким родом он не минует, чтобы не обернуть разговору округ земли, да округ души, да бога, между прочим, завсегда во всякое слово примешает, – хоть ты что хошь!

Сибирячка на этот раз ответила на соображения своего мужа только повторением фальцета, более звонким, чем прежде, и ничего не прибавила лично от себя к наблюдениям своего мужа.

– Оборачивается винтом в этих самых словах и никаким родом его оттуда не вывинтить! И все ведет к одному – «отдай!» Тоже это ихнее любимое... «Кабы бог дал, так бы и туда отдал и сюда отдал... Бог-то не дал, а там говорят «отдай!». Там отдай, здесь отдай. Отдай да отдай! «Кабы две души», «да земли», «да бог бы дал», так бы и отдал. А то чем отдашь? Коли бог... земля, душа!» И пош-шол, и пош-шшол оборотом, оборотом винтить, винтить, хоть ты помирай! И чего живет, никаким родом не сообразить!

Последняя фраза, сказанная с самым искренним недоумением, доказывала, что она есть результат весьма продолжительных наблюдений сибиряка над «российскими». Мне вздумалось потолковать с ним подробней (ведь сибиряк-крестьянин не знал ни бурмистра, ни Карла Карловича), и так как в это время самовар был готов и сибирячка уносила его с крыльца в дом, приглашая туда же и мужа, то и меня взяла охота пойти туда же и побеседовать за чаем.

II

Скоро я был в большой чистой избе, с потолком, полатями, лавочками и полом, выкрашенными масляною краской желтого цвета, сидел за таким же выкрашенным столом, пил чай и разговаривал. Разговор шел на ту же тему, которая была предметом размышлений сибиряка, когда он сидел на крыльце, и я передавать его не буду. Но кое-что он и пояснил в своем определении.

– И ведь какой народ! Ни одет, ни обут, и есть ни ему, ни ребятам почитай что нечего, а толкует только о земле да о душе. Иной раз глядишь, глядишь на них (много мы их перевидали), да и сам, признаться, о боге-то подумаешь! Должно быть, что действительно премудрость какая-нибудь мыкает их по свету! По-нашему этого не сообразить. С одним таким-то переселенцем российским такой на наших глазах оборот вышел, что и нехристь, а и тот в бога уверует.

– Это ты про Андрея рассказываешь? – припомнив что-то, спросила сибирячка.

– Да нешто мало их, таких-то Андреев? Что ни российский, то и Андрей.

– Нет, уж с Андреем вышло совсем особенное!

– Со всяким то же самое! – сурово опровергал муж, опоражнивая чашку за чашкой.

Судьба этого Андрея так заинтересовала меня, что я по-

старался вызвать сибиряка на подробный рассказ о нем.

– Года с два, никак, Андрей-то этот в наших местах показался. Пришел он с прочими, со своими же «курскими», и всем им как раз надобно было в наших местах оставаться; земля им отведена тут около нашего села, в тридцати верстах. Приехали они, выправили в волости бумаги и ушли на новые места, а Андрей не поехал, остался. Тут же вот, у нас на дворе, примостился, амбар пустой выпросил. «Чего же ты, говорю, не едешь с своими-то?» – «Да боязно мне, говорит, ехать-то... пообгодить надо... Горе, говорит, со мной случилось...» – «Что же такое?» – «Да сын, говорит, двенадцати годов, на дороге у меня помер». Сказал про сына-то и сейчас что-то, как вон у них всегда бывает, «земля, земля, земля», «душа, душа, душа». Тогда я не вникал в это, не понимал и дивлюсь, что он про сына-то не говорит? Спасибо, баба, – в повозке она больная лежала, – подняла голову, завыла на весь двор и рассказала: «Хворать начал еще в Тюмени... Выехали оттуда, жар его стал палить. Пить просит, знобит его... А остановка в поле, ночи холодные, так и скончался!» Ревет баба, горько убивается; и у мужика слеза было показалась, только он ее рукавом утер и сейчас же опять за свое. «Бумага-то, говорит, у меня дадена на две души... Это ведь тридцати десятин по здешнему. Коли бы ежели сын-то был жив, я бы тридцать десятин взял... половину бы отдал на съём. Есть, говорит, из наших и с деньжонками люди, возьмут в аренду... Все бы я справился кое-как, деньжонок бы

получил да и сам бы поработал, было бы с чего взяться... А как господь-то меня покарал, сына-то взял, ведь по бумаге-то мне на две души не дадут... Да и баба-то уж больно убивается, скучит по родному детищу. Ослабла совсем, какая она теперь работница. А мне одному тоже трудно взяться. Вот и не знаю, как быть? Обгодить надо». И опять повернул на землю да на душу. Даже спросишь о бабе, – поправляется ли, мол? «Мается», говорит, и в ту же минуту опять и про бумагу и про землю. Так уж мысли у него такие все скучные были. Потолковал я с ним так и раз, и два, и три, – все то же самое... Скучит все про землю, да про душу, да бога поминает... Ну, думаю, живи как знаешь; оставил его, перестал с ними разговоры разговаривать.

– Они тогда у нас недели с две прожили! – прибавила с своей стороны сибирячка.

– Не упомяну хорошенько, две ли, три ли недели; только я этого Андрея не касался. Попросит хлеба, – дашь... Поработает. И все молчит, все, я вижу, одно и то же думает, а баба все лежит в повозке. Молчит, молчит, да как взвояет на весь двор, да как начнет причитать, душа разрывается. А потом опять молчит. Спросишь иной раз Андрея: «Что это баба-то твоя убивается?» А он отвечает: «Как же не убиваться?.. Тоже наречение наше, какой парень-то был, да опять как ежели бы жив был». Ну, и все как обыкновенно. Не дослушаешь и уйдешь. Так и шло время. «Чего он дожидается?» – думаю, однако не спрашивал, не касался. Только однажды

– гляжу, и сам он идет ко мне. «Так и так, говорит, баба-то моя ведь тяжелая... Того и гляди родить ей придется. Уступи мне, сделай милость, амбарчик на время». Тут я понял, чего он дожидается. И анбарушку ему дал, а баба моя и повитуху ему указала. Узнал я это, и так мне стало его, признаться, жалко. Как ему быть с больной бабой в чужой стороне? Ничего, почитай, у него нет, и самим-то есть нечего, чем и ребенка-то кормить? Баба хвора, тощая; мучается она, что сын у нее помер, покою не знает, плачет. Такие прискорбные они мне показались, не видывал я такого бедствия. Пропадают люди прямо на глазах. «Эй, Андрей, Андрей, – говорю ему как-то однова, – плохо твое дело! Как-то ты справишься? И что делать-то будешь?» Пропадает, думаю, как трава от морозу. А между тем, вижу, не то: смотрит на меня Андрей, и лицо у него нескучное! Как бы уж тут-то не заскучать? Ведь беда идет неминуемая, дело видимое, а он, наоборот тому, даже как бы и повеселел. «Авось, говорит, бог и поможет?» – «Что же, говорю, все бог да бог. Ты сам видишь, какие твои дела». А он ту ж минуту выхватил из-за пазухи свою «бумагу», да и отрапортовал мне: «Ведь баба-то родит либо сегодня, либо завтра. А ну, как господь даст, опять мальчика? Ведь тогда прямо тридцать десятин по бумаге должны выдать. А ежели мне тридцать-то десятин, так ведь я в аренду половину-то!» И пошел, пошел колесить и винтом, винтом оборачивать – и бог, и земля, и душа! То есть плюнул я и ушел прочь! И не подходил! А только от людей слышу: идет в

амбаре – страсть господняя! Слышу: «родила девочку!» Думаю: «ну! пропал мужик!» И точно, рассказывают, свалился, говорят, Андрей с ног. «Руки, говорит, на себя наложу. Пропал я, кричит, пропал, пропал, пропал!..» Плачет даже!.. Потом слышу: «померла девочка». Весь двор, все наши бабы в один голос говорят: «Слава богу!» Вижу, и Андрей очнулся, ходит по двору, а что теперь будет делать, на что надеется, не спрашиваю. Говорю бабе моей: «Оставим его в работниках вместе с его бабой?» Жалко ведь, истинно жалостно смотреть. И порешили было так, но Андрей не остался. Напал на него и на его жену необыкновенный страх, обуял их испуг какой-то. Баба его первая испугалась: и сына у них нет, и еще ребенок умер, и зачем это они в этой чужой стороне? «Домой, домой, домой! – взмолилась баба, – опять в свои места». И мужик-то тоже совсем обезумел... Так мы и не видали, как они второпях со двора съехали. Спрашивали мы потом у новых переселенцев, не встречали ли таких-то и таких-то «курских». И сказывали нам также ихние, «российские», что видели их, «едут», а потом говорили, что видели их уж без повозки, без лошади под Пермью. А наконец и совсем слух о них прекратился... Так они и канули. Мы так и почитали, что не дойдут они до места и сгинут где-нибудь в чистом поле. И что ж, однако, вышло?

Вероятно, то, что вышло, было до того необыкновенно, что и сам хозяин-рассказчик и его жена, не раз вздыхавшая во время рассказа, вдруг развеселились, и лица их засияли

самым радостным выражением.

III

– То есть такое вышло удивительное дело, кажется и в сказках такого не рассказывается! Проходит года два, мы и думать-то забыли про Андрея. Раз как-то, уже нынешним летом, слышу, какая-то баба, которая при родах Андреевой жены была, говорит: «Арестанты, говорит, прошли сегодня в пересыльную, и кажись будто Андрей с женою там...» А у нас тут за селом, – сами чай видели, – большая пересыльная тюрьма. «Не обозналась ли, мол?» – «Нет, говорит, как будто они самые». Что ж, может, и грех от бедности попутал. И еще прошел месяц, ни слуху, ни духу не было. Однажды вышел на крыльцо, утром, – смотрю: Андрей и жена, и новая повозка с лошадей! И такие они превеселые, здоровые – удивление! «Как так? – спрашиваю их. – Откуда? Каким манером? Сказывали про вас, что в арестантской партии вас заприметили?» – «Точно, говорит, точно так! Привел бог поетапом проехать!⁴² Дай бог здоровья начальству! Отправило поетапом! Накормило, пригрело, приютило! В жизнь свою мы такого удовольствия не видали, как в поетапе!» И уж как

⁴² *По этапам проехать* – то есть быть отправленным с партией арестантов. До распространения в России железных дорог арестанты передвигались по грунтовым дорогам. Этапами назывались пункты дневок и ночлега, отстоявшие один от другого на 15–25 верст, специально устроенные или нанятые здания с оборудованными местами для ночлега и кухнями для приготовления пищи, содержащиеся на средства государственного казначейства.

рады-то! то есть ежели и двести тысяч выиграть, и то этак-то не обрадуешься!.. Стали расспрашивать, и рассказали они нам: «Добрались мы, говорят, до своих мест, в лютую зиму, пешком... еле живы... Как уж добирались, об этом и вспомнить страшно... Добрались до своего села, приютились в работниках. Потребовали нас в волость и спросили бумаги. А бумаги-то у нас уж сибирские; мы уж оказались не курские, а ваши, сибирские, к вашему обществу приписанные... Как поглядел писарь в бумагу-то, осердился и говорит: «Вас, говорит, надо поетапу, обратно!..» Как он сказал «поетапу», так баба-то и упала без чувств, думала – «в каторжную работу». А очнулась, взвыла, как малый ребенок. Еле-еле ее на телегу полумертвую положили... А потом, как повезли нас, смотрим мы и дивуемся: ничего худого нету, все хорошо. И одежду дадут, и ночлег, и три раза в день кормят, и каждую неделю баня... «Что такое, думаем, чего мы боялись? Дай бог всякому как в поетапе пожить!» И что дальше, то лучше! ни копейки не спрашивают, а все дают; кончили тракт, помчали по машине, а потом пароходом, а потом пешим ходом, с роздыхами, с остановками...

Отъелись, отдышались мы с бабой, как этого и в жизнь не бывало... Порумяanela даже, мол, моя старуха, погляди-кось! Ей-богу!» И точно, и мужик окреп, повеселел, а баба и совсем стала похожа на человека. Точно совсем другие люди пришли! Рассказали они потом, как их довели до города, где была переселенческая станция. Там их выпустили на во-

лю, указав им, где живет начальник; начальник им помог, дал денег взаимнообразно на лошадь и повозку да пять рублей на харчи; помогли и другие добрые люди, заглядывавшие на станцию посмотреть переселенцев, и вот они уже здоровые и не скучные, а совсем даже веселые, опять к нам приехали... И такую они пустили славу про «поетап», что теперь и на поселке и в партиях только и слышно, что про этот самый этап. «Отчего нас по этапу не везут? Это богатые пускай едут на свои деньги, а нас, бедных, обязательно ублаготворить по этапу! Ишь, Андрюшка-то с своей бабой разъелся как!..»

– Ну, а сам-то Андрей, как теперь? – спросил я, – какие у него теперь мысли в голове?..

– Да какие? Какие были, такие и остались... Как-то встретился я с ним на базаре, заговорил с ним, спросил: «хорошо ли, мол, теперь?» – «Земли, говорит, нарезали на одну душу, да бог даст баба родит мальчика, потому что она опять тяжела, так тогда как раз по бумаге выйдет... Я, говорит, думаю беспременно мальчика, потому не было скучных мыслей. Коль бог даст, так тридцать-то десятин...» Н-ну, окончательно, опять тот самый оборот винтом и округ того же самого... «Ну, говорю, ладно!» Так и разошлись, и с тех пор не видал его, да и пушай его. Надоедно даже!

– Так вот... незнамо как живут! – умозаклучила сибирячка и, в виду присутствия постороннего лица, постаралась скрыть еще один фальцет.

IV

На этом окончился разговор собственно о «российских». Не знаю, удовлетворит ли он читателя и даст ли ему ответ на вопрос: «И чего живут?» Не в видах уяснения этого вопроса, а только для того, чтобы читатель сам мог сосредоточить на нем внимание, мне остается передать еще только о том впечатлении, которое произвела на меня дерюга, покрывавшая переселенческую кибитку.

Рассматривая ее (потому что повозка довольно долго была перед моими глазами), я понял, что она почти вековая летопись неустанного крестьянского труда. Вся она состояла из заплат, сшитых одна с другой и нашитых одна на другую; несомненно, что здесь были труды прапрабабушек, переданные в виде обносков прабабушкам; эти передали останки обносков, с придачей и своей работы, бабушкам, а бабушки, перештопав, перешив все эти заплатки предшествовавших поколений, передали их внучкам, и вся эта летопись неустанного, непрерывного труда едет теперь, защищая от дождя и солнца, куда-то в неведомую даль, не суля ничего, кроме опять-таки продолжения того же самого неустанного труда. Об этом неустанном труде, из века в век, из поколения в поколение, говорила каждая нитка дерюги. Рисовались трудные работы с посевом льна, с его обработкой и превращением в нитку, в холст, в рубаху, и, наконец, в эту заплатку.

Бессонные ночи пряденья, тканья, шитья, все это из поколения в поколение делалось единственно только для того, чтобы прикрыть наготу человека, опять-таки неустанно трудящегося для кого-то и для чего-то, так как в конце этих вековых трудов не получилось ничего иного, кроме неразрешимого вопроса:

«И чего живут?»

Да, даже и дерюга, эта не печатная, а безгласная летопись векового труда, как видим, не способствует выяснению этого вопроса, а так как она была, кроме мнения сибиряка, единственным моим воспоминанием о положении «российского», то приходится и очерк этот окончить все-таки на том же нерешенном вопросе...

Примечания

Цикл очерков «Поездки к переселенцам» посвящен вопросам переселенческого движения русских крестьян, охватившего с начала 1880-х годов особенно значительные массы населения средних областей России. Эта тема давно занимала Успенского, но только летом 1888 года ему удалось совершить поездку в Сибирь, куда главным образом переселялись крестьяне. Писатель с большой ответственностью отнесся к выполнению своей задачи и рассматривал поездку в Сибирь как важное общественное поручение, которое он обязан был выполнить в качестве летописца страданий русского крестьянства.

Маршрут Успенского сложился следующим образом. Около 10 июня 1888 года он выехал на пароходе из Казани в Пермь.

Из Перми по горнозаводской железной дороге Успенский проехал в Тюмень, куда, вероятно, прибыл 16–17 июня. Здесь он провел около двух недель, знакомясь с переселенческим движением, затем на пароходе отправился в Томск. Известно, что прибыл он в Томск 13 июля («Сибирская газета», 1888, 17 июля, № 54, стр. 5), что плавание по Тоболу и Оби заняло 8 суток, что в Тобольске он 16 часов ожидал парохода; следовательно, Тюмень Успенский оставил 3–4 июля.

В Томске Успенского ждали. «Сибирская газета» еще 9 июня поместила известие следующего содержания: «Наш знаменитый писатель Глеб Иванович Успенский будет в это лето путешествовать по Сибири и с одним из следующих пароходов прибудет в Томск. Как говорят, Глеб Иванович едет с целью ознакомления с переселенческим движением».

Успенский принял участие в работе редакционного коллектива «Сибирской газеты», готовившего номер, посвященный открытию в Сибири первого университета. В № 55 этой газеты от 22 июля была помещена статья Успенского «А. П. Шапов», написанная в память выдающегося ученого, славного уроженца Сибири.

Писатель ознакомился с переселенческой станцией в Тюмени, побывал у новоселов в 40 верстах от города и собрал обильный цифровой и фактический материал. 28 июля Успенский на лошадях отправился обратно в Тюмень, через Колывань, Каинск, Омск и Тюкалинск.

Путь был не близкий, около 1500 км, затем свыше 700 км по железной дороге до Перми и Волгой в Казань. Более 20 дней продолжалось обратное путешествие Успенского. 19 августа он пишет В. М. Соболевскому уже из Чудова, сговариваясь относительно печатания в «Русских ведомостях» писем о переселенцах.

Переселение крестьян для царского правительства было одним из средств решения аграрного вопроса в России. Стремясь освободиться от последствий естественного при-

роста населения в условиях острого малоземелья, опасаясь увеличения масс обезземеленного и голодающего крестьянства, правительство в интересах помещиков рекламировало переселение в Сибирь и поощряло его.

Но организация переселения была поставлена совершенно неудовлетворительно. Как указывал В. И. Ленин, вся переселенческая политика самодержавия была «насквозь проникнута азиатским вмешательством заскорузлого чиновничества, мешавшего свободно устроиться переселенцам, вносившего страшную путаницу в новые земельные отношения, заражавшего ядом крепостнического бюрократизма центральной России окраинную Россию». (В. И. Ленин. Сочинения, т. 13, стр. 388–389).

Бедственное положение переселенцев привлекло внимание прогрессивной печати и передовых деятелей восьмидесятих годов. Начинается изучение переселенческого движения, ведется статистический учет его, суммируются наблюдения. Важную роль в развитии этого интереса сыграла работа И. Гурвича «Переселения крестьян в Сибирь» (1889).

В этой книге, названной В. И. Лениным «превосходным исследованием» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 150), Гурвич рассматривает причины, заставляющие переселенцев покидать родные края и искать счастья в новых местах, и описывает ход переселения. Тяга в Сибирь чрезвычайно развилась в русском крестьянстве к началу 1880-х годов. За два года в Сибирь проследовало 74 000 человек, – то есть почти

столько, сколько за предыдущее тридцатилетие (79 000). И темп переселения с годами продолжал возрастать.

После закона о реформе 1861 года, никак не затронувшего вопросов переселения крестьян, правительство регулировало переселение частными распоряжениями. Только в 1881 году было приступлено к выработке закона о крестьянских переселениях. В 1886 году были утверждены общие положения: к переселению допускаются наиболее нуждающиеся крестьяне, по определению местной администрации переселенцам выдаются ссуды и т. д. Тогда же были введены должности администраторов по переселению и в Екатеринбург, Оренбург, Златоуст, Тобольск и Томск командированы правительственные чиновники для содействия переселенцам. Их деятельность была сразу же ограничена ничтожными средствами – для всей России размер расходов на переселение был установлен в сумме 20 тысяч рублей... Закон о переселении был утвержден только 13 июля 1889 года.

Успенский был потрясен открывшейся перед ним в Сибири картиной бедственного состояния переселенцев и чудовищных злоупотреблений местных властей и столичных чиновников. Для всестороннего изучения вопроса весной 1889 года он посетил другой крупный район переселения крестьян центральных губерний России – Башкирию. Во время этого посещения Башкирии Успенский вскрыл ряд крупных административных злоупотреблений и выявил разорительную для переселенцев роль так называемого Крестьянского

банка. В очерках «От Оренбурга до Уфы» Успенский говорит о «гибели Башкирии» и расхищении башкирских земель «в самых бесстыжих размерах», о позоре, который навлекает на себя царизм, содействуя этому расхищению. Писатель утверждает, что «подлог» является первоначальником так называемой культуры Оренбургского края – подлог со своими бесчисленными ветвями и отростками, который разросся «в единую, темную, дремучую, как глухой темный лес, кляuzu». Новые владельцы башкирских земель не имеют подлинных, законных документов, подтверждающих их право на владение. Но с тем большим упорством они кляузничают в судах, оттягивая у башкир их исконные земли. И суд идет навстречу грабителям.

Переселение русских крестьян в Башкирию началось после реформы 1861 года. Организация башкирского народа, имевшего свое военно-сословное устройство, была ликвидирована, и башкир приравнивали к «свободным сельским обывателям». В 1865 году в Башкирии было образовано 808 сельских обществ, объединенных в 130 волостей, прежние нормы земельного права были ликвидированы, и башкиры превратились в крестьян, не имевших никаких прав на земли, которыми пользовались доселе.

Пореформенные мероприятия правительства разорили башкир и вынудили их к сдаче своих земель в аренду по чрезвычайно низким ценам. В феврале 1869 года было утверждено новое положение, согласно которому башкир-

ским общинам разрешалась продажа «свободных» земель и лесов.

Это правительственное распоряжение позволило различного рода эксплуататорам буквально наброситься на башкирские земли и приступить к открытому расхищению земельных богатств Башкирии. Пользуясь поддержкой и помощью правительственных учреждений, многочисленные собственники с помощью грубого обмана занимали башкирские земли, обезземеливали население.

На эту систему колониального угнетения башкирский народ ответил восстанием 1874 года, захватившим Осинский уезд Пермской губернии. В 1879 году в четырех уездах Башкиры вместе с татарами, протестуя против политики самодержавия, разгромили волостные правления. В начале 1880-х годов движение расширилось, захватив ряд уездов Башкирии и смежных губерний. Восставшие уничтожали усадьбы русских помещиков и местных богачей, башкир и татар, убивали эксплуататоров, рубили леса, захватывали пашни. Для борьбы с крестьянами правительство выделило специальные войска, с помощью которых в 1884 году восстание было ликвидировано. Десятилетием позднее, в 1894 году, оно вспыхнуло с новой силой, подтверждая стихийный протест башкир против расхищения земель и русификаторской политики царского правительства. Однако и это восстание было жестоко подавлено.

На башкирских землях, захваченных помещиками и ку-

лаками, а также на общинных землях, оставшихся у башкир, правительство расселяло выходцев из центральной России и Заволжья, желая таким путем смягчить в стране аграрный вопрос. На территории Уфимской губернии русское население с 1860-х до 1900-х годов выросло более чем на 1 миллион человек, вдвое увеличилась плотность населения на квадратную версту, значительно возросло распахиwanie земель, леса сводились, степи превращались в поля.

Чуткий наблюдатель русской действительности, патриот и демократ, Успенский с тревогой следил за ходом развития капитализма в России, скорбел о разорении крестьянства и негодовал на интеллигенцию, уклонявшуюся от забот о городских и сельских тружениках. Очерки «Поездки к переселенцам», печатавшиеся в виде газетных корреспонденций, привлекли внимание русского общества к вопросам переселения крестьян и содействовали организации благотворительной помощи переселенцам. Последние годы творческой жизни Успенского прошли под знаком этой большой и важной темы. Правдивый рассказ писателя о страданиях русских крестьян никогда не потеряет своего политического и художественного значения.

Работы Успенского по переселенческому вопросу свидетельствуют о необычайном внимании его к крестьянской жизни. Писатель непрерывно следил за сообщениями печати, изучал собранные материалы как исследователь и сообщал о своих выводах читателю как подлинный трибун-пуб-

лицист. Успенского прежде всего заботит практическое решение вопроса, он стремится облегчить народную нужду, дорожит каждой возможностью облегчить страдания крестьянства. Он делится с читателем своими наблюдениями и обобщениями и призывает к помощи народу. Успенский мучительно искал выхода из тупика, в который привела страну политика царского правительства, но найти его не мог. Земельный вопрос, как и все другие вопросы народной жизни, был решен только после Великой Октябрьской социалистической революции.

1. От Казани до Томска и обратно

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости» под заглавием «Письма с дороги», 1888, № 167, 19 июня; № 190, 12 июля; № 197, 19 июля; № 209, 31 июля; № 223, 14 августа; № 230, 21 августа; № 235, 6 августа; № 243, 3 сентября; № 253, 14 сентября; № 262, 23 сентября; № 292, 25 октября; № 310, 10 ноября. Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПб., 1891.

2. От Оренбурга до Уфы

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1889, № 194, 16 июля; № 203, 25 июля; № 243, 3 сентября;

№ 282, 12 октября. Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПб., 1891.

3. Не знаешь, где найдешь

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1888, № 356, 27 декабря, в составе цикла «Концов не соберешь». Вошло в третий том сочинений Успенского в качестве третьей части цикла «Поездки к переселенцам». Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПб., 1891. При жизни Успенского рассказ был, кроме того, без существенных изменений опубликован в книге «Аграфена. – Не знаешь, где найдешь. (Для взрослых.)», изд. В. И<кскуль>, М., 1892, и в сборнике «Четыре рассказа», М., 1893.